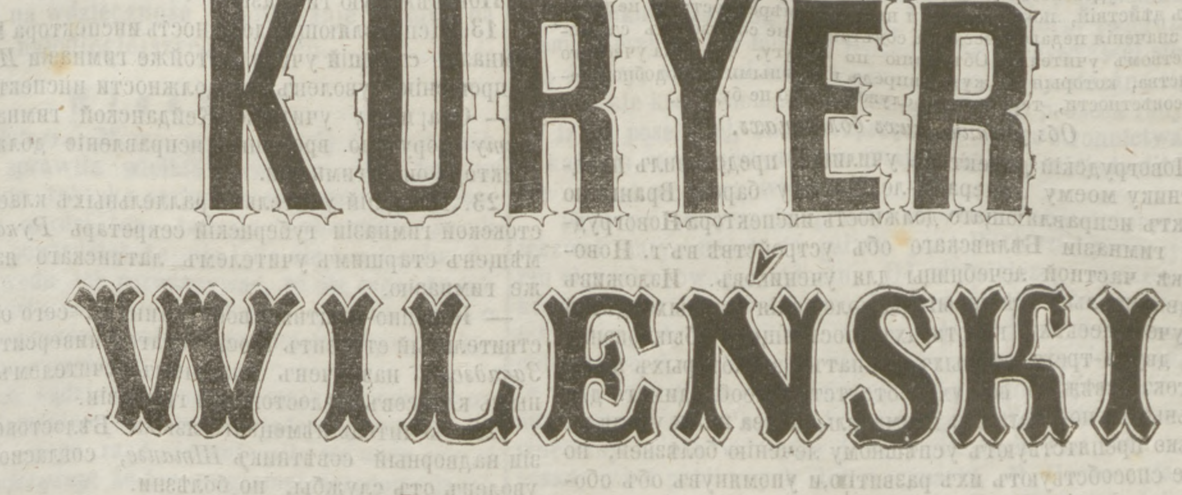
№. 18. ПЯТНИЦА, 2 МАРТА. 1862. PIĄTEK, 2 MARCA. №. 18.

ВИЛЕНСКІЙ ВѢСТНИКЪ



KURYER WILEŃSKI

ГАЗЕТА
ОФФИЦІАЛЬНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.

ВЫХОДИТЪ ПО ВТОРНИКАМЪ И ПЯТНИЦАМЪ.

Цѣна на мѣстѣ: За годъ 10 р. За полъ года 5 р. За четверть года 3 р. За 1 мѣсяцъ 1 р.
Съ пересылкою: За годъ 12 р. За полъ года 6 р. За четверть года 3 р. 50 к.
За объявленія: За строку изъ 40 буквъ платится 17 коп. сер.

GAZETA
URZĘDOWA, POLITYCZNA I LITERACKA.

WYCHODZI WE WTORKI I PIĄTKI.

Cena na miejscu: Roczna rs. 10, Półroczna rs. 5, Kwartałowa rs. 3, Miesięczna rs. 1.
Z przesyłką: Roczna rs. 12, półroczna rs. 6, kwartałowa rs. 3 kop. 50.
Za wiersz ze 40 liter ogłoszenia płaci się k. sr. 17.

СОДЕРЖАНІЕ:

TREŚĆ.

Часть оффиціальная.

Ст.-Петербургъ, 27 февраля.

Высочайшими указами отъ 17 сего февраля назначены: 1) попечитель Санктпетербургскаго учебнаго округа, сенаторъ, генералъ-лейтенантъ *Филипсонъ*—членомъ главнаго правленія училищъ, съ оставленіемъ въ званіи сенатора и съ увольненіемъ, по прошенію, отъ должности попечителя; 2) директоръ Императорской публилной библіотеки, тайный совѣтникъ *Деляновъ*—попечителемъ Санктпетербургскаго учебнаго округа, съ оставленіемъ въ должности директора библіотеки.

Рекрутскій наборъ.

Въ Русскомъ Инвалидѣ напечатано: „По окончаніи послѣдней войны и по заключеніи мира, арміи наши были приведены въ мирное положеніе, и потому огромная масса людей была уволена во временные отпуски; нижніе чины, едва прослужившіе годъ, возвратились обратно къ своимъ семействамъ. Это дало возможность въ послѣдующіе годы пополнять убыль въ арміи не рекрутами, а отпускными нижними чинами, что въ свою очередь позволило отдалить срокъ рекрутскихъ наборовъ. Согласно тому, въ Высочайшемъ манифестѣ 26-го августа 1856 года было объявлено между прочимъ, что рекрутскій наборъ не будетъ производиться въ теченіе трехъ лѣтъ. Срокъ этотъ былъ продолженъ, въ слѣдствіе различныхъ сокращеній въ нашихъ войскахъ, такъ что въ теченіе 6-ти лѣтъ вовсе не было наборовъ. Но въ настоящее время запасъ нижнихъ чиновъ, въ слѣдствіе сокращенія срока службы, выхода въ отставку значительнаго числа ихъ, дошелъ до такой численности, что если не принять своевременныхъ мѣръ къ новому комплектованію арміи, то, въ случаѣ войны, можно встрѣтить недостатокъ въ необходимомъ резервѣ, надлежащее образованіе котораго должно составлять одну изъ важнѣйшихъ заботъ правительства, въ мирное время. Въ слѣдствіе того, дѣлается необходимымъ рекрутскій наборъ, и слѣдуетъ ожидать, что правительство приступитъ къ этой мѣрѣ въ нынѣшнемъ же году."

Въ циркулярѣ г. попечителя Виленскаго учебнаго округа, князя Ширинскаго-Шихматова, отъ 9 февраля 1862 года, напечатано:

О конфиденціальности совѣщаній педагогическихъ совѣтовъ.

До свѣдѣнія моего дошло, что въ нѣкоторыхъ гимназіяхъ ввѣреннаго мнѣ округа не всѣ члены педагогическихъ совѣтовъ со-

Dział urzędowy.

St. Petersburg, 27 lutego.

Przez Najwyższe ukazy, z dnia 17 lutego zostali naznaczeni: 1) kurator Sanktpetersburskiego okręgu naukowego, senator, jenerał-porucznik *Filipson* — członkiem głównego zarządu szkół, z zostawieniem w godności senatora i z uwolnieniem, na własną prośbę, od obowiązku kuratora; 2) dyrektor Cesarskiéj bibljoteki publicznéj, radca tajny *Delanow*—kuratorem Sanktpetersburskiego okręgu naukowego, z pozostaniem w obowiązku dyrektora bibljoteki.

Nabor rekrutski. W Inwalidzie Ruskim wydrukowano: „Po ukończeniu wojny ostatniéj i po zawarciu pokoju, armje nasze były postawione na stopie pokoju, i dla tego to wielka massa ludzi została uwolnioną na czasowe urlopy; żołnierze, którzy rok zaledwie przesłużyli, powrócili do swych rodzin. To dało możność, dopełniać w latach następnych niedostatek w armji, nie już rekrutami, lecz żołnierzami urlopowemi, co dozwoliło swoim porządkiem oddalić termin naborów rekrutskich. Zgodnie z tém, *w Najwyższym manifeście z d. 26 sierpnia 1856 r.*, między innemi było objawiono, że nie będzie naboru rekrutskiego w ciągu lat trzech. Termin takowy był przedłużony, w skutek rozmaitych zmniejszeń w wojskach naszych, tak, że w ciągu sześciu lat naborów nie było wcale. W obecnym zaś czasie, zapas żołnierzy, skutkiem skrócenia terminu służby i wyjścia znacznéj ich liczby do dymissji,—doszedł do takiéj liczby, że jeśli nie zostaną użyte w swoim czasie środki do nowego skompletowania armji, to, w razie wojny, może się okazać brak koniecznych rezerw, których uformowanie powinno być jedną z największych starań rządu, w czasie pokoju. W skutek tego, rekrutski nabór staje się koniecznym, i należy oczekiwać, że rząd w tym jeszcze roku użyje tego środka."

W okolniku p. kuratora Wileńskiego okręgu naukowego, księcia Szyryńskiego-Szychmatowa, z dnia 8-go lutego roku ter., czytamy:

O konfidencjalności naradzania się rad pedagogicznych.

Doszło do mojéj wiadomości, że w niektórych gimnazjach powierzonego mi okręgu nie wszyscy członkowie rad pedagogicznych zachowują tajemnicę narad, szczególniéj gdy idzie o roztrząśnienie pro-

---

Перепечатываемъ изъ Сѣв. Пчелы слѣдующую весьма замѣчательную статью, на которую стоилобы *многимъ* обратить особенное вниманіе:

ОТОЙДЕМЪ, ДА ПОГЛЯДИМЪ: ХОРОШО ЛИ МЫ СИДИМЪ?

Нельзя не признать нынѣ въ русскомъ обществѣ какой-то усиленной духовной дѣятельности, вѣрнѣе—заботы о будущемъ, о вопросахъ, не такъ давно еще вовсе чуждыхъ намъ, и встрѣчавшихъ въ насъ равнодушіе и безучастность.

Всему своя пора—это общій законъ вещественнаго и духовнаго быта. Мы издавна привыкли состоять всѣмъ міромъ подъ опекой, и предавшись ей, заботились только о личности своей и о насущныхъ своихъ потребностяхъ. Нынѣ что-то такое проснулось, какъ будто на общее благо, что-то не совсѣмъ ясное, иногда шумное, но вообще не довольно сознательное. При такомъ состояніи своемъ, мы, кажется, должны напередъ всего добиться до ясныхъ понятій, до вѣрнаго сознанія своихъ заботъ, надеждъ и желаній; только тогда всѣ живыя силы наши могутъ устремиться на поддержку этого движенія.

При всей неопредѣленности своей, это движеніе однако же выражается иногда неудовольствіемъ, какъ всегда бываетъ, когда человѣкъ недоволенъ судьбою, и стремится изъ одного состоянія въ другое, по убѣжденію его, лучшее. Такъ нехорошо; надо искать лучшаго. А на другое мы ропщемъ, обвиняя въ немъ всѣхъ, разумѣется, кромѣ самихъ себя. Своей вины мы никому не прощаемъ.

И вотъ въ чемъ весь вопросъ, вопросъ, служащій основой этому духовному движенію, указывающій ему цѣль и путь, дающій ему направленіе и силу. Если виноваты другіе, то мы должны, при твердомъ сознаніи этого, переучить и переправить ихъ; если же мы сами небезгрѣшны, то сами же обязаны убѣдиться въ этомъ, и исправиться. Можетъ быть, дѣло этимъ и поправится.

Управляющій казенными крестьянами въ одной губерніи отправился въ отдаленную волость, въ коей усиливалось конокрадство, и на которой были большія недоимки. Зная хорошо зажиточность крестьянъ, онъ собралъ сходку, и сильною, удачною рѣчью, дошедшею до сердца ихъ, укорялъ и стыдилъ ихъ въ неисполненіи своего долга; онъ объяснилъ имъ вкратцѣ куда и на что идутъ государственные доходы, и старался вразумить ихъ въ преступности подданныхъ, невносящихъ своей доли тяги въ казну государеву, и тѣмъ налагающихъ двойную тяготу на своихъ братьевъ, потому-что расходы правительства неминучи.

Съ трудомъ только передовые старики удержались отъ порыва, и едва дали договорить начальнику, какъ съ жаромъ кинулись впередъ, и стали рьяно защищать свое дѣло: „Батюшка ты нашъ, да мы словъ такихъ ни отъ кого еще и не слыхивали; вѣдь зарѣзалъ ты насъ безъ ножа! Помилуй! не клади ты позора на наши головы, выслушай! Неужто и подлинно мы податей государевыхъ не снесемъ, неужто мы, окаянные, будемъ ослушники? Да вѣдь ты погляди, что дѣлается: вѣдь сборщикъ ли, старшина ли, ни съ одной души податей безъ прижимки не выправитъ. Ну, сорвалъ бы, да былъ бы дѣлу конецъ, а то нѣтъ, вѣдь тебѣ, твоей милости, чай, вѣдомо. У насъ и теперь четверо такихъ, что волости окладываютъ да міръ окрадываютъ, сидятъ въ тюрьмѣ, судятся, извели собраннаго оброку да поподушнаго кто сотъ пять, кто и поболѣ, а коли въ волость принесешь самъ, то либо принять некому, либо говорятъ: поставь-ка штофъ напередъ, да прибавь на казначея, и у насъ-де безъ придачи въ городѣ не принимаютъ, а проживаться тамъ съ деньгами—того гляди украдутъ. Ну, глядишь, наѣхалъ чиновникъ: застращаетъ всѣхъ, подавай оброкъ только-что мужики станутъ сносить къ нему, у кого есть, сполна, а онъ на мировую самъ напрашивается: давайте, говоритъ, по пятаку съ рубля, я и уѣду: до-году потерпимъ. Оберетъ, уѣдетъ, а тутъ, глядишь, другой, построже да покруче перваго наѣхалъ: „подавай подати, либо по гривнѣ съ рубля; нето всѣхъ засажу! „Какъ тутъ быть? Да я самъ, батюшка, коли счесть всѣ повинности, давнымъ давно два раза отплатилъ, а говорятъ, онѣ всѣ на мнѣ въ недоимкахъ..."

Управляющій, нѣсколько озадаченный неожиданнымъ слѣдствіемъ убѣдительной рѣчи своей, успѣлъ однако собраться съ мыслями, и спокойно остановилъ разгорячившихся отвѣтчиковъ. „Такъ что же? сказаль онъ, „вы затѣмъ думаете быть правыми? Что вы, какъ слѣдуетъ добрымъ людямъ, въ праздникъ Божій идете въ церковь, помолиться, покаяться и просить доброумія да благостыни? Живете вы честно, трезво, трудолюбиво, никого не обижаете, ни на чье добро не посягаете? Избираете вы старшинъ своихъ по совѣсти, по присягѣ? Нѣтъ! Въ воскресные заранки торите дорогу въ кабаки, а паперть у васъ поросла быльемъ: вы ославились въ околоткѣ конокрадами, а не вы, такъ братья, дѣти, внуки ваши—это все одно; вы избираете старшинъ, чуть не въ кабакѣ, такихъ, которые за это ставятъ ведро вина, и которыхъ сами послѣ отпаиваете, ставите имъ по ведру на мѣсяцъ.... Правду я говорю, или нѣтъ?.... И вы думаете, что такимъ людямъ Богъ пошлетъ добрыхъ и честныхъ начальниковъ? Никогда. И не говорите мнѣ этого, и не жалуйтесь, не плачьтесь ни на кого, какъ на-себя...."

Все это не выдумка, а быль; равно и то быль, что вся сходка затихла, повѣсила головы, вздыхала, разводила руками и каялась. „Правда, правда, „слышалось тутъ и тамъ, „согрѣшили дьяки за наши грѣхи."

Воля ваша, а я надъ случаемъ этимъ призадумался, и меня поразило, какъ палицей. Чѣмъ указываютъ вилами на чужой дворъ, не поглядѣть ли на свой?

Мы ропщемъ по дѣлу, коли видимъ, что дѣла наши плохи, но куда и на кого, по правдѣ, долженъ пасть этотъ ропотъ? Куда и на кого обратится порывъ негодованій нашихъ? а затѣмъ, куда, въ какую сторону обратимся мы со снадобьями, для исцѣленія открытыхъ и дознанныхъ нами язвъ?

Я думаю, мы сами еще не годимся, а поэтому и то не годится, что насъ окружаетъ, или на что мы право сѣтуемъ.

Обширный, грубый народъ, со всѣми добрыми и дурными качествами необразованной природы своей, былъ внезапно вовлеченъ въ новый для него міръ, въ уровень народовъ, выстрадавшихъ бытъ, ими себѣ усвоенный, народовъ, перебродившихъ каждый на свой ладъ и на своей закваскѣ. Вынужденный равняться въ этомъ новомъ для него строю, народъ этотъ поневолѣ выступилъ на поприще въ одеждѣ общаго покроя; съ прочими принялъ тотъ же видъ, осанку и выправку; затвердилъ и исполнялъ наказныя слова, команду; но болѣе этого онъ за одинъ пріемъ сдѣлать не могъ. Онъ принялся за ученое, поддѣлался подъ чужой ладъ, какъ умѣлъ, а нравственно не улучшился, потому-что на это дѣло не было и нѣтъ ни мастера, ни лекала, и оно по командѣ не передается. Напротивъ та передовая часть народа, которая вдвинута была въ новый міръ и новую жизнь, ограничась вначалѣ, также поневолѣ, одною внѣшностію, затѣмъ и осталась при ней, и потому исподволь обратилась въ олицетворенную ложь, какъ всякая искаженная внѣшность есть представитель лжи. Пойдемъ далѣе—ужъ коли каяться, такъ каяться. Эти передовыя тысячи и были признаны здравымъ смысломъ отсталыхъ милліоновъ за ложь, и, вѣковымъ обращеніемъ своимъ съ послѣдними, первые старались сохранить усвоенное себѣ званіе. Изъ этого родилась еще прибавочная порча или порокъ для всего народа: недовѣрчивость, упорная косность въ своихъ убѣжденіяхъ, какъ бы ни были они нелѣпы, и утрата высшимъ сословіемъ своего нравственнаго перевѣса надъ низшимъ, даже утрата связи съ нимъ: послѣдовалъ духовный разрывъ.

Если мы сознаемъ все это, то поймемъ, почему мы ходимъ, словно не дома, ни съ чѣмъ не можемъ освоиться, почему все прививное становится намъ наконецъ пошло и противно, а своей почвы мы подъ собою не доищемся.

На кого же мы хотимъ пенять? Развѣ начальные люди, которыми мы недовольны, пали на насъ съ луны? Развѣ всѣ они не были взяты изъ нашей же среды? Кто изъ насъ, положа руку на сердце, скажетъ, что *самъ онъ* былъ бы гораздо лучше на такомъ-то мѣстѣ, и заткнулъ бы за поясъ всѣхъ другихъ?

Всѣ мы въ двойкахъ хороши, да въ тузы не годимся, по одной и той же причинѣ: мы дошли до сознанія необходимости чистыхъ нравственныхъ началъ, и сознаемъ это на словахъ, подавая большія надежды; но такъ-какъ основанія началъ этихъ въ насъ не выработались, то и послѣдніе останки ихъ въ насъ исподоволь исчезаютъ, по мѣрѣ того, какъ мы подымаемся выше.... Мы свыкаемся постепенно съ порядкомъ лжи и обмана, жаркіе порывы остываютъ, безнадежность начинаетъ одолѣвать насъ, и ложь вступаетъ въ свои права. Мы не только доносимъ: „У насъ все благополучно„ ,мы готовы доносить, языкомъ башкирскаго урядника, перекартавившаго эту завѣтную скороговорку. „У насъ всѣхъ получше„ ,и всякій изобличитель становится уже личнымъ нашимъ врагомъ, Вскорѣ мы приходимъ въ тупикъ: нѣтъ у насъ ни силъ, ни досуга, ни даже способностей заниматься честно дѣломъ, заботиться о благѣ другихъ, а является одна только настоятельная потребность не выпускать на бѣлый свѣтъ этой докучливой бѣлой пташки, которую люди зовутъ *истиной*, и одѣвать и обувать въ добровидную личину все, что отъ насъ зависитъ.... Если же явится человѣкъ, у котораго *понятія о долгѣ* развиты яснѣе, совѣсть не столь сговорчива, нравственная остойчивость поупорнѣе, то одинъ въ полѣ не воинъ; либо онъ надрывается, обратясь въ безпокойнаго, нетерпимаго въ быту человѣка, либо убирается за добра-ума спозаранку, и глохнетъ гдѣ-нибудь въ застѣньѣ....

А что же дѣлаетъ въ это время молодое поколѣніе, на которое многіе такъ надѣются? Оно видитъ зло, и въ свою очередь, наученное тяжкимъ примѣромъ, коли не опытомъ, могло бы исправить его!... Молодое поколѣніе негодуетъ, выходитъ изъ себя, готово потоптать ногами всѣ мерзости, что передъ нимъ воочію совершаются; но себя не готовитъ ни къ чему, потому-что оно оторвано отъ родной почвы, и несется по всѣмъ вѣтрамъ.... И оно въ свою очередь выступаетъ на поприще съ благими умыслами, но самонадѣянно, и потому тщеславно, безъ подготовки, безъ яснаго сознанія, съ однимъ только убѣжденіемъ, что все дурно и гадко, и все должно быть передѣлано... Однимъ словомъ, мы все только зоримъ, зоримъ, и ничего не созидаемъ!

Братья и дѣти наши, лгу я также въ этой картинѣ, по повальной болѣзни нашей, или говорю правдиво? Не полно ли зорить, не пора ли строить? А строить безъ чертежа и смѣты нельзя, иначе выйдетъ столпотвореніе. Что же намъ дѣлать, какъ приступить къ дѣлу, что начать?

Во-первыхъ взглянуть глубже въ себя, открыть и въ себѣ самомъ мерзость запустѣнія, смириться и покаяться. А кайкою называю я, коли кто видтъ въ себѣ зло, коли оно мерзитъ ему, и онъ, всею силою безсмертнаго своего духа, хочетъ отъ зла этого очиститься.

Во-вторыхъ познавъ въ себѣ столько грязи, и наслѣдственной, и врожденной, и повально наносной, мы уже не станемъ судить только другихъ, а осудимъ напередъ себя.

Въ-третьихъ насъ поразитъ убѣжденіе, что, при такихъ данныхъ, общее дѣло наше не пойдетъ и итти не можетъ. Мы сами должны сдѣлаться годными и достойными, тогда только дѣло рукъ нашихъ и ума нашего будетъ годно и достойно.

Никто не обрѣтетъ блаженства своего внѣ себя, или, какъ говоритъ народъ простымъ языкомъ: „не найдешь въ себѣ, не ищи и на селѣ„ ,а стремясь искать его *въ себѣ*, каждый изъ насъ незримо подаетъ руку помощи ближнему.

Приступайте же къ новой жизни съ вѣрою и правдою: сбросимъ съ себя личину, какъ чужую одежду, и освободимся этимъ отъ главнаго порока нашего: *лжи* Отстанемъ отъ пошлаго, растлѣвающаго подражанія, къ коему привело насъ суетное тщеславіе, и которое нарядило насъ въ эту ненавистную личину. Подадимъ другъ другу братскую руку, *на любовь и на правду*; но не станемъ себя обольщать призраками: не красныхъ словъ, не шутихъ и блестокъ ждетъ отъ насъ отечество, не порывами молодой кипучей крови мы его исцѣлимъ и подымемъ, не подвиговъ оно отъ насъ требуетъ, а совѣсти, честной души и ровной, спокойной тяги. Налягъ каждый на свою лямку, хотя бы этого и никто ни видѣлъ, никто не зналъ—и дѣло пойдетъ.

В. Даль.

хранятъ тайну совѣщаній, въ особенности, когда дѣло относится къ обсужденію поведенія учениковъ, такъ что учащіеся, еще до объявленія имъ опредѣленія совѣта, знаютъ уже не только объ этомъ рѣшеніи, но и о ходѣ самыхъ преній, со всѣми подробностями, иногда умышленно искаженными. Отсюда возникали между учениками и распространились въ обществѣ ложные толки и неудовольствіе на нѣкоторыхъ преподавателей. Такой образъ дѣйствій, показывающій неблагонамѣренность и непониманіе значенія педагогическихъ совѣтовъ, не совмѣстенъ съ достоинствомъ учителя. Объявляю по округу, что лица учебнаго вѣдомства, которыя окажутся впредъ виновными въ подобной недобросовѣстности, терпимы на службѣ мною не будутъ.

Объ ученическихъ больницахъ.

Новогрудскій директоръ училищъ представилъ предмѣстнику моему генералъ-лейтенанту барону Врангелю проектъ исправляющаго должность инспектора Новогрудской гимназіи Бѣлявскаго объ устройствѣ въ г. Новогрудкѣ частной лечебницы для учениковъ. Изложивъ предварительно всѣ невыгоды положенія больныхъ дѣтей въ ученическихъ квартирахъ, состоящихъ обыкновенно изъ двухъ-трехъ тѣсныхъ комнатъ, въ которыхъ недостатокъ свѣжаго воздуха, отсутствіе необходимаго для больныхъ спокойствія и внимательнаго за ними ухода не только препятствуютъ успѣшному леченію болѣзней, но даже способствуютъ ихъ развитію, и упомянувъ объ обоюдномъ вредѣ, происходящемъ въ слѣдствіе того обстоятельства, что больные не отдѣлены отъ здоровыхъ, г. Бѣлявскій усматриваетъ существенную потребность въ устройствѣ особой больницы для учениковъ. Первоначальное обзаведеніе ея и дальнѣйшее содержаніе онъ полагаетъ возможнымъ отнести на добровольныя пожертвованія родителей учащихся и хозяекъ ученическихъ квартиръ.

Я вполнѣ раздѣляю мысль г. Бѣлявскаго о необходимости ученическихъ больницъ не только въ Новогрудкѣ, но и въ другихъ городахъ, въ которыхъ, какъ я убѣдился лично, при осмотрѣ учебныхъ заведеній, учащіеся подвержены различнаго рода невыгодамъ, по недостатку удобныхъ для нихъ помѣщеній. Больной въ оспѣ или въ скарлатинѣ и день и ночь (кромѣ класснаго времени) проводитъ съ здоровыми мальчиками въ той же биткомъ набитой и тѣсной комнатѣ, безъ всякаго почти надзора. Заведеніе больницъ поведетъ и къ уменьшенію отсутствій учениковъ изъ классъ, если будетъ принято за правило, чтобы всякій, чувствующій себя нездоровымъ, немедленно являлся въ больницу для докторскаго осмотра.

Прошу гг. начальниковъ учебныхъ заведеній и педагогическіе совѣты представить мнѣ свои соображенія объ устройствѣ ученическихъ больницъ; причемъ считаю необходимымъ замѣтить, что обременять учащихся установленіемъ какого либо особаго на этотъ предметъ сбора я не нахожу ни какой надобности. Приглашеніе почетныхъ попечителей и почетныхъ смотрителей тѣхъ уѣздовъ, въ которыхъ расположены заведенія, обратить обязательное ихъ ежегодное пожертвованіе на это доброе дѣло, по моему мнѣнію есть лучшее средство, къ которому можно прибѣгнуть въ настоящемъ случаѣ, не отказываясь впрочемъ и отъ добровольныхъ пожертвованій родителей и частныхъ лицъ, для чего можно имѣть особую шнуровую книгу.

Буду ожидать соображеній педагогическихъ совѣтовъ по этому дѣлу.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ, ПЕРЕМѢЩЕНІЯ И УВОЛЬНЕНІЯ ПО РАСПОРЯЖЕНІЮ НАЧАЛЬСТВА.

Января 1862 года.

5. Учителю рисованія и чистописанія Брестскаго дворянскаго училища *Венцковскому* поручено преподаваніе Польскаго языка въономъ училищѣ.

10. Старшій учитель латинскаго языка Поневѣжской гимназіи *Зуевскій* перемѣщенъ на таковую же должность въ Ковенскую гимназію.

— Старшій учитель латинскаго языка Ковенской гимназіи *Контовтъ* перемѣщенъ на таковую же должность въ Поневѣжскую гимназію.

13. Исправляющій должность инспектора Кейданской гимназіи старшій учитель тойже гимназіи *Изгордышовъ*, по прошенію, уволенъ отъ должности инспектора.

— Старшему учителю Кейданской гимназіи *Нарквисту* поручено временно исправленіе должности инспектора оной гимназіи.

23. Младшій учитель параллельныхъ классовъ Бѣлостокской гимназіи губернскій секретарь *Руковичъ* перемѣщенъ старшимъ учителемъ латинскаго языка въ ту же гимназію.

— Казенно-коштный воспитанникъ сего округа дѣйствительный студентъ Московскаго университета Антонъ *Завадзскій* назначенъ младшимъ учителемъ паралельныхъ классовъ Бѣлостокской гимназіи.

24. Учитель нѣмецкаго языка Бѣлостокской гимназіи надворный совѣтникъ *Штанге*, согласно прошенію, уволенъ отъ службы, по болѣзни.

Февраля 3. Кандидатъ С. Петербургскаго университета Измаилъ *Григоревичъ* опредѣленъ старшимъ учителемъ русской словесности въ Пинскую гимназію.

— Старшій учитель русскаго языка Свенцянской гимназіи над. сов. *Калинскій* перемѣщенъ старшимъ учителемъ тогоже предмета въ Бѣлостокскую гимназію.

— Старшій учитель русскаго языка Бѣлостокской гимназіи коллежскій совѣтникъ *Овчинниковъ* перемѣщенъ старшимъ учителемъ тогоже предмета въ Свенцянскую гимназію.

6. Дѣйствительный студентъ университета св. Владиміра коллежскій секретарь *Неводничанскій* опредѣленъ учителемъ математики въ Тельшевскую прогимназію.

— Бывшій учитель Чарновчицкаго приходскаго училища *Каленковскій* назначенъ учителемъ приготовительнаго класса Брестскаго дворянскаго училища.

6. Выдержавшій испытаніе на званіе учителя нѣмецкаго языка въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Людвигъ *Смогоржевскій* опредѣленъ учителемъ нѣмецкаго языка въ Молодечнянскую прогимназію.

Объявленіе благодарности. Почетному Блюстителю Ошмянскаго казеннаго еврейскаго училища 1-го разряда купцу еврею *Ефрону*, за пожертвованіе обуви и одежды бѣднѣйшимъ ученикамъ сего училища.

Депутатамъ Поневѣжскаго еврейскаго общества, за пожертвованіе матеріяловъ, для одежды бѣднымъ ученикамъ Поневѣжскаго казеннаго еврейскаго училища 1-го разряда.

Открытіе частныхъ учебныхъ заведеній. Согласно постановленію попечительскаго совѣта, 29 декабря 1861 г. состоявшемуся, разрѣшено открыть частный женскій пансіонъ на степени 4-хъ класснаго училища въ г. Вильнѣ дочери чиновника 9-го класса *Екатеринѣ Копыловской*.

ВИЛЬНО.

Его сіятельство, попечитель Виленскаго учебнаго округа, дѣй. ст. сов. князь А. П. *Ширинскій-Шихматовъ* возвратился вчера изъ С. Петербурга.

wadzenia się uczniów, tak że uczniowie przed objawieniem im jeszcze postanowienia rady, wiedzą już nie tylko o téj uchwale, ale też o toku samych rozpraw, ze wszystkiemi szczegółami, niekiedy umyślnie skażonemi. Ztąd powstawały pomiędzy uczniami i szerzyły się w publiczności wieści fałszywe i niechęć ku niektórym nauczycielom. Takie postępowanie, wykazujące zły sposób myślenia i niepojmowanie znaczenia narad pedagogicznych, nie jest odpowiednie godności nauczyciela. Zapowiadam więc w okręgu, że osoby wydziału szkolnego, które odtąd okażą się winnemi podobnego naruszenia ufności, w służbie cierpiane przeze mnie nie będą.

O szpitalach dla uczniów.

Nowogródzki dyrektor szkół podał poprzednikowi mojemu jenerał-porucznikowi baronowi Wrangielowi projekt pełniącego obowiązek inspektora gimnazjum Nowogródzkiego Bielawskiego, o urządzeniu w Nowogródku szpitalu prywatnego dla uczniów. Opisawszy najprzód wszystkie niedogodności dzieci chorych w mieszkaniach uczniów, zwykle z dwóch lub trzech izb ciasnych złożonych, w których brak powietrza świeżego, koniecznéj dla chorych spokojności i troskliwego pielęgnowania ich nietylko przeszkadza skutecznemu leczeniu chorób, ale nawet dopomaga do ich rozwinięcia się, i powiedziawszy o wzajemnéj szkodliwości, wynikającéj z tego powodu, że chorzy nie są oddzieleni od zdrowych, p. Bielawski widzi istotną potrzebę urządzenia osóbnego szpitala dla uczniów. Początkowe zaopatrzenie tego szpitala i dalsze jego utrzymanie, możnaby, jak mniema, załatwić kosztem dobrowolnych ofiar rodziców uczącéj się młodzieży i gospodyń kwater uczniów.

Najzupełniéj podzielam myśl p. Bielawskiego o potrzebie szpitali dla uczniów nie tylko w Nowogródku, ale też i w innych miastach, w których, jak się przekonałem osobiście w czasie oglądania zakładów szkolnych, uczniowie wystawieni są na niedogodności różnego rodzaju, dla braku wygodnych dla nich pomieszczeń. Chory na ospę lub szkarlatynę dzień i noc (prócz godzin lekcij) przepędza razem z dziećmi zdrowemi w ludnym i ciasnym pokoju, bez żadnego prawie dozoru. Założenie szpitali zmniejszy także liczbę nieobecnych uczniów w klassach, skoro przyjętém będzie za prawidło, ażeby każdy czujący się niezdrowym, udawał się niezwłócznie do szpitala dla wyegzaminowania przez doktora.

Proszę pp. naczelników zakładów naukowych i rady pedagogiczne o nadesłanie mi swoich wniosków względem urządzenia szpitali dla uczniów; przyczém poczytuję za rzecz potrzebną napomknąć, że obciążać uczniów zaprowadzeniem jakiegokolwiekbądź osóbnego na ten cel poboru, żadnéj nie znajduję potrzeby. Wezwanie kuratorów honorowych i dozórców honorowych tych powiatów, w których zakłady są położone, by coroczne ofiary swoje téj dobréj sprawie poświęcili, oto, według mego zdania, najlepszy sposób, do którego można się uciec w tym razie, nie pomijając zresztą i dobrowolnych ofiar rodziców i osób prywatnych, na co można mieć osóbną księgę sznurową.

Będę oczekiwał wniosków rad pedagogicznych w téj mierze.

NAZNACZENIE, PRZENIESIENIE I UWOLNIENIE, Z ROZPORZĄDZENIA ZWIERZCHNOŚCI.

Roku 1862, stycznia.

5-go. Nauczycielowi rysunków i kaligrafji Brzeskiéj szkoły powiatowéj *Węckowskiemu* poruczono dawanie języka polskiego w téj szkole.

— 10. Starszy nauczyciel języka łacińskiego w gimnazjum Poniewiezkiém *Zujewski*, przeniesiony na takąż posadę do gimnazjum Kowieńskiego.

— Starszy nauczyciel języka łacińskiego w gimnazjum Kowieńskiém *Kontowt* przeniesiony na takąż posadę do gimnazjum Poniewiezkiego.

13. Pełniący obowiązek inspektora gimnazjum Kiejdańskiego, starszy nauczyciel *Izgordyszew*, na własną prośbę otrzymał uwolnienie od obowiązku inspektora.

— Starszemu nauczycielowi gimnazjum Kiejdańskiego *Norkwistowi* poruczono czasowe pełnienie obowiązku inspektora tegoż gimnazjum.

23. Młódszy nauczyciel klass parallelnych gimnazjum Białostockiego, sekretarz gubernjalny *Rukowicz* przeniesiony został na starszego nauczyciela języka łacińskiego w témże gimnazjum.

— Wychowany na koszcie skarbowym tego okręgu student rzeczywisty uniwersytetu Moskiewskiego Antoni *Zawadzki*, naznaczony został młódszym nauczycielem klass parallelnych gimnazjum Białostockiego.

24. Nauczyciel języka niemieckiego w gimnazjum Białostockiem radca dworu *Sztange*, na własną prośbę, z powodu choroby, nwolniony został ze służby.

Lutego 3. Kandydat uniwersytetu S. Petersburskiego Izmael *Grygorowicz*, naznaczony został starszym nauczycielem literatury rossyjskiéj w gimnazjum Pińskiem.

— Starszy nauczyciel języka rossyjskiego w gimnazjum Święciańskiem, radca dworu *Kaliński* przeniesiony został na starszego nauczyciela tegoż przedmiotu do gimnazjum Białostockiego.

— Starszy nauczyciel języka rossyjskiego w gimnazjum Białostockiem radca kollegjalny *Owczynnikow*, przeniesiony został na starszego nauczyciela tegoż przedmiotu w gimnazjum Święciańskiem.

6-go. Student rzeczywisty uniwersytetu Św. Włodzimierza, sekretarz kollegjalny *Niewodniczański* otrzymał posadę nauczyciela matematyki w progimnazjum Telszewskiém.

— Były nauczyciel Czarnowczyckiéj szkoły parafjalnéj *Kalenkowski* naznaczony jest nauczycielem klassy przygotowawczéj Brzeskiéj szkoły powiatowéj.

— Ludwik *Smogorzewski* po zdaniu egzaminu na nauczyciela języka niemieckiego w średnich zakładach naukowych, otrzymał posadę nauczycielską języka niemieckiego w progimnazjum Mołodeczniańskiem.

Oświadczenie podziękowania. Honorowemu konserwatorowi Oszmiańskiéj skarbowéj szkoły żydowskiéj 1-go rzędu, kupcowi starozakonnemu *Jefronowi*, za ofiarowanie obuwia i odzienia dla biedniejszych uczniów téj szkoły.

Deputatom Poniewiezkiéj gminy żydowskiéj za ofiarowanie materjałów na odzienie dla uboższych uczniów Poniewiezkiéj skarbowéj szkoły żydowskiéj 1-go rzędu.

Otwarcie prywatnych zakładów naukowych. Stosownie do postanowienia Rady kuratorskiéj w dniu 29 grudnia 1861 roku nastałego, pozwolono otworzyć prywatny pensjon dla panien, w stopniu szkoły o 4-ch klassach, w m. Wilnie, córce urzędnika 9-éj klassy Katarzynie *Kopyłowskiéj*.

WILNO.

Jaśnie wielmożny p. kurator Wileńskiego okręgu naukowego, rzecz. radca stanu książe *Szyryński-Szychmatow* wczoraj powrócił z St. Petersburga.

SIEROTA
CZYLI
PAMIĘTNIKI SIEDMDZIESIĘCIOLETNIEJ STARUSZKI.
OPOWIADANIE Z CZASÓW
STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO.
przez
MAKSYMILJANA WERESZCZYŃSKIEGO.

(Dalszy ciąg ob. N. 17.)

IV.

JENERAŁOWA BYSZEWSKA I DWÓR JEJ.

W końcu po długim przeciągu czasu i niewypowiedzianych cierpieniach, zwlekłam się jakoś z łóżka i na szczudle zaczęłam przecię chodzić. Tymczasem, przyszło sztafetą zawiadomienie, że jenerałowa na czas jakiś przybędzie z Warszawy, by zamieszkać w swoiém pięknem starostwie i że nawet wyjechała już ze stolicy.

Wszystko co żyło krzątało się około godnego przyjęcia swéj pani, ja tylko jedna musiałam jak przykuta pilnować stancji; do niczego niemogłam być użytą i to mnie mocno martwiło. W tém jednego pogodnego ranka wyszłam jakoś przecię na obszerny dziedziniec pałacowy i usiadłam na ławce pod lipą, przy któréj leżał ogromny ciosowy kamień, zastępujący miejsce stolika. Przy mnie pani rządczyni z pończoszką w ręku, zaczęła opowiadać jak do niéj konkurował ongi pan starościc Stanisław Kostka Jeziorowski, dziedzic niedzielnego majątku między ośmiu braćmi, składającego się z czterech poddanych, a teraźniejszy jéj małżonek, będący aplikantem przy jednym ze sławniejszych adwokatów lubelskich; aż tu, w najciekawszém miejscu opowiadania, biegnie co tylko może wyskoczyć Ignaś, chłopiec stajenny i zadyszany woła z całych sił:

— Pani dobrodziko, pani dobrodziko! Oto proszę patrzeć, O! o! o!

— Wszelki duch Pana Boga chwali! czy ty mój chłopcze oszalałeś, czy co? Co tam się stało takiego? Chodź-no tutaj.

— Alež bo to wielmożna pani dobrodziko, już jadą, już dojeżdżają.

— Gdzie? kto tam taki dojeżdża? mów zrozumiale chłopcze.

— Alež bo jaśnie wielmożna jenerałowa jedzie, widziałem to przecie na moje własne oczy, już przejechała groblę, podjeżdża do miasta, i jest zapewne teraz około kapliczki ś-go Jana.

— Pleciesz androny, jak pijany mój kochany Ignasiu, to być przez żaden żywy Bóg niemoże. Ona dopiero, jak stoi napisano w sztafecie, którą odebraliśmy od głównozarządzającego z Lublina, a nawet podług wyrachowań mego męża, pojutrze dopiero stanąć tutaj powinna.

— Alez ona! no, przysięgam Panu Bogu, że ona! O! ja ich znam tam wszystkich jak moje pięć palców. Zaraz poznałem po kapeluszu z piórami, że na koźle z pocztyljonem siedzi Augustynek strzelec; za niemi w koczu cztérma gniadoszami, cośmy to ich posłali ztąd przeszłéj jesieni, stary dziadzia Heronim powozi; a na dwóch fornalkach widać panny, w jednéj Jacek w drugiéj Iwanek za furmanów.

— Może się tobie tylko tak przywidziało, mój chłopcze.

— Przywidziało, przywidziało, jak gdybym to ja chory był na gorączkę. Niech no tylko sama pani zechce popatrzyć, oto już dalibóg wjeżdżają w pałacową ulicę.

— Ach prawda! lećże czém prędzéj mój chłopcze, daj znać memu mężowi, zastaniesz go pewnie na probóstwie, bo tam poszedł przed godziną na marjasza do księdza proboszcza.—No ruszaj a pamiętaj spraw się na jednéj nodze.

To powiedziawszy sama pobiegła co tchu wydawać także potrzebne rozporządzenia, zupełnie zapomniawszy w tém ogólném zamieszaniu i trwodze o mnie biédnéj kalece.

Około lipy pod którą siedziałam, szła właśnie droga do pałacu, którą jenerałowa niezawodnie przejeżdżać miała; wstaję więc i postrzegłszy karetę wjeżdżającą w długą aleję lipową, chciałam podbiedz, lecz w tém uderzam chorą nogą, całą siłą o kamień. Zadzwoniło mi w uszach, pozieleniało w oczach i padłam jak długa na brzeg sam drogi, a co się ze mną daléj stało zupełnie nie pamiętam; przyszłam do przytomności zaledwie wieczorem. Jak się potém dowiedziałam, jenerałowa gdy zobaczyła leżącą bez zmysłów, kazała się zatrzymać pocztyljonowi, wysiadła z powozu i wszelkich użyła sposobów do ocucenia mnie. Nadjechał też i doktor, zawsze od niéj nieodstępny, rozkazano omdlałą przenieść do pałacu, gdzie dopiero po kilku godzinach obudziłam się jakby ze snu, w pięknym buduarze, obitym niebieskim weneckim adamaszkiem, i pogrążonym w miłym półcieniu. Łóżko, na którém leżałam, stało na wzniesieniu, wspierało się po rogach na czterech złoconych orłach i usłane piernatami z miękkiego łabędziego puchu osłonione było kotarą z różowego ostindyjskiego muślinu. W głowach mych siedziała dama, lat około pięćdziesięciu mieć mogąca; z drugiéj strony młoda panienka jakaś opędzała nademną muchy oganiaczką z piór pawich. Pierwsze słowa, które po ocknieniu mojém przemówić mogłam, były:

— O mój Boże jedyny, co ze mną! gdzież to ja jestem?

— U życzliwych ci przyjaciół, lube dziecię—odpowiedziała matrona. Ale,—dodała,—zachowaj się jak tylko można najspokojniéj, moja droga, doktor bowiem zabronił ci najmniejszego wzruszenia. Będziesz zdrowa, zapewnił mnie o tém, lecz trzeba trochę cierpliwości, nim zdrowie zupełnie wróci.

— Gdzież jest moja dobrodziejka, druga moja matka, kochana pani Jeziorowska? O jakbym się chciała z nią zobaczyć, uściskać ją,—rzekłam nieśmiało.

— Będziesz ją wnet widziec.—Teraz uspokój się i nie ruszaj o ile możności. Już minęło niebespieczeństwo. Daruj, że cię na kilka chwil opuścić musimy, zaraz przyszlę ci dla dozoru służącę. Do zobaczenia. Bądź zdrowa.—Chodź Helenko!

To powiedziawszy, wyszła jenerałowa, a z nią i jéj synowica, panna Helena, córka szambelana Gintowta, którą się ciotka, po śmierci jéj rodziców, opiekowała.

W minut kilka weszły, zapewne z jéj rozkazu, pani Jeziorowska i jedna z garderobianych.

— Ach, kochana Józiu!—mówiła ze smutkiem rządczyni—odbierają mi ciebie. Pani jenerałowa, dowiedziawszy się o twojém urodzeniu i przygodach od mego męża, chce cię wziąść z sobą i zawieźć do Warszawy. Nierozsądkiem byłoby ze strony naszéj sprzeciwiać się tak dobrym chęciom. Bóg wszystkiém ku lepszemu w życiu człowieka kieruje, moja córko. Trzy miesiące tu jeszcze zabawisz, bo na taki przeciąg czasu zjechała nasza pani. Nie kazała nam już nawet brać cię do siebie, gdyż od téj chwili, jeżeli tylko, jak się wyraziła, to się podobać tobie będzie, liczysz się przy dworze jaśnie wielmożnéj jenerałowéj.

— Powiedzże mi moja droga matko i opiekunko jakimże sposobem to wszystko stać się mogło?—zapytałam.

— Jenerałowa jadąc, gdy cię spostrzegła leżącą przy drodze bez przytomności, chcąc byś jéj jednéj winną była powrót do zmysłów, zajęła się trzeźwieniem ciebie. Wkrótce też nadbiegł i mąż mój, od którego się dowiedziała o wszystkiém co się ciebie dotyczéć mogło; opowiadanie to tak wzruszyło skłonne do litości jéj serce, iż cię polubiła. Doktor nadworny, opatrzywszy twą nogę, zapewnił, że będziesz zdrową i trafowi winnaś to, coby sztuka musiała zdziałać, gdyż potrzebną była nieodzownie w tym względzie operacja, to jest, musianoby sformowany ów guz wyrzynać. Ale to ciekawa bardzo rzecz, że z tumoru tego, jak nazywa lekarz, wypadł jakby kłębek nitek różno kolorowych; rozebrawszy go pan Grüdner, zadecydował że to jest zjadliwa materja, która coraz się zwiększając psuła massę krwi, przez co byłaś w niebespieczeństwie zostania kaleką, a nawet możebyś w cierpieniach skończyła życie, gdyby nie owo zdarzenie.

W kilka dni zaczęłam chodzić już bez pomocy szczudła. Otoczoną się widziałam wygodami, o których nie miałam wyobrażenia w mém życiu krótkiém wprawdzie lecz obfitém w nieszczęścia. Jenerałowa pieściła mnie a za nią i dwór jéj cały. Panna Helena siostrą mię swoją nazywała i szczerze mówię, że byłam bożyszczem, któremu wszystko co je otaczało, składało hołdy uwielbienia. Powoli zupełnie przyszłam do zdrowia, wróciła czerstwość i rumieniec lica, i częstokroć pani Byszewska, gładząc mnie po policzkach, mawiała do swéj synowicy:

— Ah! comme elle est gentille! Niezawodnie narobi wielkiego furoru między naszymi warszawskimi szarmantami.

— Bo też moja Józia—całując mnie, odpowiadała Gintowtówna, warta jest tego, aby ją wszyscy kochali.

Nierozumiejąc natenczas jeszcze znaczenia tych wyrazów, przeczuciem jednak właściwém wszystkim kobiétom, rumieniłam się z radości: podchlebiały mi one i młodociane niewinne serce napełniały próżnością.

Poznałam wkrótce jak wiele mogłam i co o mnie myślała moja nowa pani.—W kilkanaście dni po jéj przybyciu przyjechał też i Grzegorz, z prośbą o podpisanie własnoręczne dwunastoletniego kontraktu, zawartego z rządcą o młyny zadzierżawione przez Tomasza; cena ich roczna była tysiąc pięćset talarów bitych. Ułatwiłam temu dobremu człowiekowi, przez którego staranie tak się nadspodziewanie los mój polepszył, przystęp do jenerałowéj, któréj wprzódy jeszcze opowiedziałam szczegółowie ile zrobił dla mnie; a ona, przez wzgląd na to wypuściła mu młyny z ustępstwem roczném pięciuset złotych pols: licząc początek arendy od dnia tego, w którym podpisała kontrakt, poprzednie zaś przeszło półroczne dzierżawienie darowała, za każdy rok zapłatę rozkazując pobierać z dołu. Radość moja wówczas nie znała granic, nie cieszyłabym się tak zapamiętale wówczas nawet, gdybym podobny dar sama osobiście otrzymała.

I o mnie też nie zapomniała pani Byszewska, przeznaczono mi pensji miesięcznéj, według jéj wyrażenia, na s z p i l k i, dwadzieścia talarów, przyrzekając zamienić ją, skoro przyjedziem do Warszawy, na tyleż dukatów w holenderskiém złocie. Garderoba moja całkiem zmieniona została; dawniejsze skromne suknie moje poszły na podarunki a miejsce ich zastąpiły materjalne, po większéj części z ogonami, do których jednak, przyznam się wam otwarcie, nigdy nawyknąć niemogłam; liczyłam zaś ich do dwóch tuzinów, z których niektóre przeszło po pięćset kosztowały złotych.

(Dalszy ciąg nastąpi).

Dział nieurzędowy.

Wiadomości zagraniczne.

POGLĄD OGÓLNY.

Ważnym wypadkiem na drodze rozwoju zasad wyzwolonych w dzisiejszéj Francji jest list Napoleona III, pisany do hrabiego de Morny. Zamiar uposażenia hrabiego Palikao dał do niego pozorną przyczynę, ale rzeczywiście cesarz miał cel zupełnie inny, to jest rozproszenie tych chmur, które zbierać się poczęły na politycznym widnokręgu Francji. Cesarz, jako biegły sternik narodowéj nawy na burzliwem morzu życia ludowego, przewidział te wichry, jakie z zatargów między przedstawicielstwem krajowem a rządem rozsrożyćby się mogły i słowem rozumném a pojednawczém w czas zakląć je postanowił. Czytelnicy Kurjera znajdą ten prześliczny list pod wiadomościami z Francji. Hrabia de Morny odczytał go drżącym z rozczulenia głosem, a cała izba poselska wybuchnęła okrzykami: Niech żyje cesarz! Musiała to być rzeczywiście chwila wzniosła i uroczysta. Moc duszy Napoleona III jest znana; najmniejsza słabość nie ma do niéj przystępu. Dnia 2 grudnia 1850 roku dowiodł, że go najzaciętsza walka nie zastrasza, jeżeli więc teraz jéj unika, pochodzi to z głęboko wyrozumowanego przekonania, że prawa przedstawicielstwa szanować należy i że tylko przez mądrą równowagę między władzami państwa prawdziwe jego szczęście osiągnięte być może. Obrót, jaki cesarz uposażeniom lub nagrodom za świetne przewagi wojenne nadać umyślił, a mianowicie, żeby ciało prawodawcze uchwaliło roczną wieczystą rentę, z któréjby tego rodzaju nagrody rozdawane być mogły, począwszy od marszałków i admirałów Francji, aż do prostych żołnierzy siły zbrojnéj lądowéj i morskiéj, jest pod względem politycznym szczegółem podrzędnym; główna doniosłość listu ma nierównie wyższy polot: jest to jawne w obec narodu i Europy wyznanie tego hołdu, jaki cesarz składa izbie wypływającéj z tegoż źrzódła, z którego i najwyższa cesarska władza wypłynęła. Z jakiejkolwiek strony zastanowimy się nad tym listem, przyznać musimy, że nic właściwszego, nic bardziéj w porę obmyślanego nie można było uczynić.

Odpowiedź Napoleona III, dana na złożony mu adres senatu, tchnie szczerem zadowoleniem. Znajdą ją czytelnicy między depeszami telegraficznemi; cesarz cieszy się, że panujące w adresie umiarkowanie i spokoj, nie wiążą rąk rządowi i że wolno mu będzie w załatwianiu wielkich spraw świata, a mianowicie sprawy rzymskiéj, postąpić z zupełną swobodą i powagą, bo ufność, jaką senat w nim pokłada, uzbraja rząd jego niezaprzeczoną siłą i znaczeniem. Już i w izbie prawodawczéj rozprawy nad adresem rozpoczęto; według wszelkiego podobieństwa do prawdy, odpowiedź drugiéj izby, co do istotnéj myśli, będzie zgodną z odpowiedzią senatu.

Lubo więc ważna polityczna czynność, uchwalenie adresu w senacie, została już ukończoną, nie uwalnia to nas bynajmniéj, jako sprawozdawców bieżących zdarzeń, od obowiązku oznajomienia czytelników z najważniejszemi przejawami obrad. Umieściliśmy w przeszłych numerach Kurjera mowy obrońców władzy świeckiéj margrabiego de la Rochejacquelein i hrabiego de Ségur d'Aguesseau, tudzież mowy jéj przeciwników senatora Pietri, a mianowicie książęcia Napoleona. Dokończenie tego świetnego choć niezbyt ściśle rozumowanego głosu dzisiejszy Kurjer zawiera. Książe Napoleon znajduje, że najprostszém rozwiązaniem byłoby wyprowadzenie wojsk francuzkich z Rzymu, bo jego zdaniem wówczas Pius IX musiałby koniecznie pogodzić się z Wiktorem-Emmanuelem. Nie wchodząc w rozbiór o ile ten domysł jest trafnym, oddać należy sprawiedliwość książęciu Napoleonowi, że tym razem umiał być umiarkowanym; wspomnienie zaś usiłowań patryotów włoskich w r. 1814, kiedy marzyli o sprowadzeniu z wyspy Elby Napoleona I, aby stanął na czele narodowego ruchu i zapanował nad jednolitemi Włochami, ma coś dziwnie rozrzewniającego i w tém miejscu swojego głosu książe Napoleon okazał się prawdziwie wymównym. Dla uzupełnienia obrazu rozpraw nad zadaniem rzymskiém, podamy w następnym numerze Kurjera mowę wice-hrabi de la Gueronnière i odpowiedź ministra bez wydziału pana Billault, która tak cesarza zachwyciła, że głośno przed wielu osobami wynurzył uwielbienie swoje dla wysokiego rozumu i zdolności tego męża stanu.

Powiedzieliśmy w przeszłym poglądzie, że należało czekać na wiadomości z Turynu o prawdziwych pobudkach rozwiązania gabinetu barona Ricasoli. Otrzymane w téj chwili dzienniki pełne są najrozmaitszych sądów i powieści o tym ważnym wypadku. Udzielimy je niezwłócznie, dziś to tylko pośpieszamy donieść, że tydzień temu, to jest w przeszły piątek dnia 7 marca odbyło się pamiętne parlamentowe posiedzenie w Turynie. Nowy prezes rady przedstawił swój programmat, który bynajmniéj nie różni się od programmatu jego poprzednika. Tak jak baron Ricasoli, pan Rattazzi chce przymierza z Francją, jednoty bez centralizacji i uzbrojeń zagłosowanych tylko przez izbę. Wszakże cała waga posiedzenia skupiła się na objaśnieniach złożonych przez panów Ricasoli i Rattazzi. Baron Ricasoli dał za powód złożenia przez siebie urzędu, wewnętrzne trudności, jakich doświadczył w parlamencie, i konieczność zmiany gabinetowéj. Pan Rattazzi, potwierdzając to wszystko co niejego poprzednik wyłożył, oddał hołd zasłużony jego niezrównanéj prawości i jego patryotycznemu zaprzaniu, hołd, z którym cała izba zespoliła się z zapałem. Wzruszenie wywołane przez te szczere z obu stron wyrazy było tak wielkie, że izba musiała odroczyć się do dnia następnego. W ogóle był to dzień pełen chwały dla Włoch, dla parlamentu i dla barona Ricasoli. Rzeczywiście jego mowa dowiodła, do jakiego stopnia dojrzałości doszły we Włoszech rozsądek, uczciwość i trafność polityczna. Naród posiadający te przymioty, może być pewnym swojéj przyszłości.

Posiedzenie izby poselskiéj 7 marca nakazywało prawdziwe uszanowanie; wszystkie trybuny mrówiły się słuchaczami. Nowy prezes rady wyłożył programmat, którego treść wymieniliśmy wyżéj. Pan Lanza przewodnik większości wezwał obudwóch prezesów rady o wyjaśnienie przyczyn do zmiany gabinetu. Wśród najgłębszego milczenia powstał baron Ricasoli i wytłómaczył przytoczone już przez nas pobudki złożenia władzy w ręku króla, który, używając służącéj sobie prerogatywy, powołał nowych doradców korony. Wrażenie było niezmierne, grzmot oklasków rozległ się po wszystkich ławach i trybunach izby. Wszyscy deputowani pośpieszyli uścisnąć rękę barona Ricasoli; pan Rattazzi pierwszy między innymi. Ławica, na któréj zasiadał dotychczasowy prezes rady, długo otoczona była przez posłów pragnących mu okazać całe współczucie i całe uszanowanie. Nigdy nie widziano równego powodzenia.

Z Austrji ciągle dochodzą niepokojące wieści. Rozbiegła się była pogłoska, że rada cesarstwa miała być odroczoną do czasu nieograniczonego, z powodu oporu, jakiego doznaje przyjęcie układu zawartego przez ministra skarbu z bankiem narodowym. Odwołano tę smutną nowinę, lecz wnet puszczono w obieg inną, że sejmy prowincjonalne zostąną zebrane we wrześniu. Co do sejmu węgierskiego, jego otwarcie miało być poprzedzone otwarciem sejmów kroackiego i siedmiogrodzkiego, a to tym końcem, aby rozbiwszy na części przedstawicielstwo krajów koronnych ś. Stefana, odjąć ten blask majestatu, jaki od wieków otaczał narodowy parlament magyarski i połączonych z nim księstw i królestw.

Zdaje się, że Austrja nie myśli o żadném wojennem przedsięwzięciu na wiosnę, ale też nie myśli o zmniejszeniu swéj zbrojnéj siły. Dziś więcéj niż kiedykolwiek gabinet wiedeński zajęty jest sprawami niemieckiemi, których załatwienie ma otworzyć mu drogę do utrzymania a nawet odzyskania straconych krajów włoskich. Nie udało się hrabiemu Rechberg wciągnąć Prus w ścisłe i solidarne przymierze z Austrją; nie udało się również wyjednać od królów i wielkich książąt niemieckich rękojmi na posiadłości włoskie, zwolna więc poczynając od zadań łatwiejszych, minister austryjacki pragnie zbliżyć się z Prusami, przekonał się bowiem, że wówczas tylko pomoc Niemiec byłaby prawdziwie skuteczną, gdyby Prusy swoją przyrzekły. Tak więc w sprawie duńskiéj i Hessji elektoralnéj Austrja oświadczyła, że spólnie z Prusami chce działać, aby stopniowo i rząd i naród pruski oswoić z myślą bliższego związku między dwóma głównemi państwami niemieckiemi, oraz aby postępując od rzeczy łatwiejszych do trudniejszych wciągnąć gabinet berliński do służenia polityce austryjackiéj w jéj stosunkach z innoplemiennemi ludami znajdującemi się jeszcze pod jéj berłem.

Ale podobno te marzenia nigdy się nie ziszczą. Rząd pruski słusznie czy niesłusznie uwierzył w niebezpieczeństwo własnego wewnętrznego położenia. Ostatnie dzienniki napełnione są zatrważającemi środkami ostróżności, jakie feldmarszałek Wrangel rozwinął w Berlinie. Koszary mają być przepełnione wojskiem; ostre ładunki rozdano żołnierzom, zaprzęgi wozów działowych tak urządzono, aby łatwo obróty nawet w mieście wykonywać mogły. Domysły, że izba poselska zadaleko w żądaniach pójdzie; że stowarzyszenie narodowe namiętności rozżarzy; że pospólstwo stolicy, na przypadek rozwiązania izby, zapomni winnéj uległości prawom i do gwałtu się rzuci; obawa nakoniec, jak Gazeta kolońska mówi, wewnętrznych wstrząśnień za Renem, to jest we Francji, wszystko to miało wywołać nakazanie nadzwyczajnych środków. Zapewne, że te chmury bez szkody przeminą, że widnokrąg znowu się rozjaśni, ale niemniéj i to prawda, że kiedy domowe kłopoty, kiedy troska o jutro nęka, trudno wybiegać myślą za Alpy, aby przekonać się, czy Mincio jest rzeczywiście graniczną niemiecką rzeką? Tymczasem izba panów, korzystając z nieufności, jaką rząd powziął ku izbie poselskiéj, przymila się gabinetowi i zagłosowaniem praw o służbie wojennéj i o odpowiedzialności ministrów wprawia posłów w prawdziwy kłopot. Według zasad, jakiemi większość przedstawicieli rządzi się na tegorocznym sejmie, te obadwa prawa musiałyby zostać odrzucone, coby szerszą jeszcze otchłań między rządem a sejmem rozwarło. W takiém usposobieniu umysłów nic dziwnego, że co chwila nadarzają się jątrzące pobudki. Nawet wniesienia czysto porządkowe, jak np. to, które wytoczył poseł Hagen co do głosowania na budżet przez szczegóły, zniewoliło pana von Patow, ministra skarbu, do oświadczenia, że jeżeli izba pójdzie za zdaniem posła Hagena, wówczas trudno będzie znaleźć ministrów, coby się zgodzili zarządzać sprawami kraju. Pan von Patow w niewytłómaczonym obłędzie powiedział nawet, że taka uchwała izby nadwątli prerogatywę królewską. Minister prawdę powiedział: — czego nikt się niespodziewał, wnet po przyjęciu wniosku Hagena, gabinet podał się do dymissji.

Uznanie królestwa włoskiego doświadczyło w Berlinie nowéj przeszkody z powodów wprost osobistych, których ostatnia zmiana gabinetu turyńskiego wcale nie zmniejsza. Sprawozdania komissji w przedmiocie Włoch i Niemiec złożono na stole sejmowym; wkrótce przyjdzie bliżéj nam o nich pomówić. Umieściliśmy w dzisiejszym Kurjerze uwagi nad obecnym stanem Grecji; uzupełniają one to, cośmy sami powiedzieli o położeniu téj nieśmiertelnéj kolebki światła i uobyczajenia Europy. Ostatnie wiadomości zwiastują, że król Otton rozkazał ogłosić amnestję dla wszystkich powstańców, wyłączając z niéj jednak przewódców. Warunek korzystania z téj królewskiéj łaski zastrzega, aby rokoszanie broń złożyli przed rozpoczęciem bombardowania Naupliji. Minister francuzki w Atenach pan Bourrée w towarzystwie pana Tricupis udał się do obozu powstańców z zamiarem skłonienia ich do uległości.

Na drugiéj półkuli sprawa rozumu i szlachetności poczyna wieńczyć się zwycięztwem. Wojska związkowe w kilku ważnych bitwach rozgromiły zastępy oderwańców. Ludność południowa wie, jakie ofiary samolubstwa i chciwości ponieść będzie musiała, ale jeżeli tęcza pokoju zajaśnieje nad amerykańską rzecząpospolitą, Stany południowe za chwilowe upokorzenie znajdą sowitą nagrodę w téj myśli, że znosząc niewolnictwo zasłużą na wdzięczność i poważanie świata, na trwałą pamięć najodleglejszych pokoleń.

Włochy.

Turyn 27 lutego. Mowa prezesa rady o komitetach *Provvedimento* sprawiła wielkie wrażenie. Nie była to bynajmniéj żadna taktyka parlamentowa; mąż tak głębokich przekonań gardzi tego rodzaju wybiegami. Jeżeli baron Ricasoli powiedział, że nie lęka się komitetów, że rząd niema powodu ich rozwiązywać, to dla tego, że tak rzeczywiście myśli; pod tym względem nikt nie wątpi o szczerości jego wyrazów; wznieciło to niejaką obawę w kole prawdziwie mu sprzyjających.

Wielu z nich sądzi, że komitety mają cel zakreślony i będący już złamaniem statutu, oświadczają bowiem, że chcą to czynić, czego rząd *nie może albo nie umie czynić dla zbawienia ojczyzny*; że ten programat urzędowy jasno uznany został w izbie przez jednego z członków komitetu posła Macchi, który wyraźnie powiedział; że zamiarem komitetów jest *przygotowanie i prędsze zjednoczenie sił, stosowniejszych do okoliczności i skuteczniejszych od tych, jakieby rząd mógł, lub umiał zjednoczyć*.

Rzeczone stowarzyszenia są więc komitetami wykonawczemi, co jest przeciwném statutowi, dozwalającemu tylko prawa spokojnego zgromadzania się, bez nadwerężenia ustaw krajowych. Jest to do tego ztopnia prawdziwém, że pan San-Martino, kiedy był ministrem spraw wewnętrznych pod koniec 1849 roku, nie wahał się pozamykać, przemocą klubów pozakładanych w Casale, dla stawienia oporu wybieraniu podatków.

Więcéj jeszcze trwoży oświadczona pewność przez barona Ricasoli, że w każdym czasie potrafi wstrzymać zaburzenia wywołane przez komitety, skoroby im przyszło na myśl działać osobno od rządu. Bo chociażby gabinet posiadał dostateczną siłę, czyż potrafi jéj użyć w czas i bez przeszkody? Jeśliby naprzykład komitety uchwaliły wyprawę przeciw jakiéj prowincji austryjackiéj, kraj wzburzony przez towarzystwa *Provvedimento*, mógłby rzucić się z niewstrzymanym pędem i zmusić rząd: lub wspierać ten zamach albo przynajmniéj nie przeszkadzać. Hr. Cavour miał zapewne dość żołnierza do zniweczenia wyprawy marsalskiéj, ale moralnie był bezsilnym, bo kraj trzymał z komitetami. Nikt nie wątpi, że moc duszy barona Ricasoli jest wielką rękojmią. Nikt niewątpi, że pochwycić się nieda; ale powszechność została głęboko zatrwożona jego odpowiedziami, które nadały komitetom istnienie niemal prawne.

— Budżet na rok 1862 przedstawia:

wydatków zwyczajnych		690,381,372
nadzwyczajnych		149,750006
	ogół	840,131378.
Dochodów państwa: zwyczajnych		487,001,176
nadzwyczajnych		44,000000
	ogół	531,001,176
Niedobór na rok 1862-gi		308,836,372

Sam budżet wojny pochłania 227,515,249. Ze sprawozdania ministra widać, że wojsko składa się z 207653 ludzi i 29557-miu koni; że licząc 18-cie klass konskrypcji wojennéj można by mieć pod bronią 400,000 żołnierzy, nie licząc ochotników i bataljonów ruchoméj gwardji narodowéj.

Artylerja posiada 120 baterij po 6 dział, co czyni 720 armat. Wszelkiego stopnia oficerowie rozporządzalni stanowią wielką liczbę; skarb wydaje na nich 1,670,086 fr. corocznie; najwięcéj należało ich do wojska ochotników.

Oddano do rozporządzenia ministra wojny 14 miljonów na przedmiot obrony państwa, dla dokończenia warowni w Bolonji, Pizzighettone, Placencji, Pawji i Ankonie.

Zawczoraj p. Farini, zaszczycony stałą przychylnością królewską, przybył do Turynu dla porozumienia się jak mówią z pp. Rattazzi i Minghetti, co do składu przyszłego gabinetu. Polityczny jego programmat nie różni się od programmatu wymienionych dwóch mężów, ale zachodzą znaczne różnice pod względem sądu o osobach. P. Farini nie przyjmuje żadnego z posłów lewicy, pan Rattazzi zaś chętnie chciałby mieć spółpracownikiem pana Depretis, byłego prodyktatora pod Garibaldim w Palermo. P. Farini odjechał więc do Saluggia, nie mogąc porozumieć się z panem Rattazzi, który koniecznie chce mieć w gabinecie jednego z członków strony lewéj.

Neapol 27 lutego. Dziennik *Popolo d'Italia* zawiadamia o wypadku, z którego w przyszłości może się okazać że, jest w związku z listem Mazziniego, pisanym z Londynu d. 13 lutego, i komitetami *Provvedimento*. Jest to wywód słówny pierwszego zebrania *stowarzyszenia uniwersyteckiego*. Dnia 20 lutego zebrało się 55-ciu uczniów, na posiedzenie wstępne, dla skreślenia programmatu stowarzyszenia, którego cel objęli w 3-ch następnych uchwałach:

1) Urządzić uczniów krajów południowych w *legje wojenne*, dla wspierania, rozwijania i uzupełnienia narodowego programmatu, na osnowie uchwały ludowéj 21 października 1860 r.

2) Dopomnieć się o wszystkie środki sprzyjające ulepszeniu instrukcji.

3) Rozszerzyć oświecenie między warstami roboczemi, przez cywilizacyjne apostolstwo.

Zgromadzenie wybrało Filipa de Boni na prezydenta, a Salwatora Morelli na sekretarza i mianowało kommisję do ułożenia ustawy zasadniczéj stowarzyszenia uniwersyteckiego.

Wsteczne neapolitańskie dzienniki ogłaszają bardzo ciekawy dokument, to jest adres sanfedistów do jenerała de Goyon. „Jenerale, mówią z komicznym entuzjazmem, popełniłbyś zbrodnię dozwalając Druzom Alpejskim zbliżyć się do Watykanu.

„Żadna siła ziemska niema prawa nakazać tobie, abyś opuścił ojca wiernych.

„Jeżeli ocalisz Piusa IX-go, staniesz się mężem najszanowniejszym na świecie, imię twoje zajaśnieje w dziejach obok imion Pepina i Karola wielkiego.

„Gedeon z trzystu ludźmi rozproczył Madjanitów, podnieś i ty z kolei chorągiew kościoła, stań na czele twoich 25000 żołnierzy, wszyscy za tobą pójdą i t. d."

Z tąż samą pocieszną głupotą, zwolennicy burbońscy w Neapolu rozumieją, że potrafią przywrócić na tron Franciszka II-go, usiłując wywieszać w nocy białe chorągwie. Cztéry dni temu Paschalis Strazzulto, biedny rybak w Chiaja, schwytany został o godzinie 4-éj z rana na placu świętego Paschalisa, w Chiaja, w chwili kiedy chciał zatknąć jakąś białą chustę, okrytą złoconemi liljami. Karabinjerowie z trudnością ocalili go z rąk oburzonego ludu i odprowadzili do Vicarji.

Turyn 2 marca. Niespodzianie rozbiegła się wieść o złożeniu przez barona Ricasoli królowi prośby, imieniem całego gabinetu, o uwolnienie. Dają się słyszeć rozmaite sądy z tego powodu, ale nikt nie odważa się rzucić nawet cienia wątpliwości na szlachetność duszy dotychczasowego prezesa rady. Baron Ricasoli niema tych pociągających przymiotów, któremi zwykle jednają się umysły, ale nikt zapomnieć nie może, że przyjęcie przezeń steru nawy narodowéj, w obec trumny hrabiego Cavour, było czynem wysokiéj obywatelskiéj cnoty. Uczynił to w chwili przejścia, z całą sprężystością popierał politykę swojego poprzednika; drogę znalazł zasianą cierniami, a jak niektórzy twierdzą niemało przyczyniło mu i to trosków, że w najwyższéj sferze władzy, spotykał wstręt mimowolny, który starano się tłumić, ale który niemniéj wątlił stanowisko prezesa rady. W izbie poselskiéj, mimo rozprzężenia jéj na stronnictwa, w każdym ważniejszym razie znajdował choć niejednolitą, ale zawsze poważną większość.

Król po otrzymaniu prośby, chociaż trochę cierpiący, wezwał natychmiast do pałacu pana Rattazzi i poruczył mu złożenie nowego gabinetu. Od wczorajszego wieczora krążą rozmaite pogłoski; mówią o jenerale de Lamarmora jak o przyszłym ministrze wojny. Jest on bez wątpienia chlubą wojska włoskiego, ale wszyscy zgadzają się na to, że wziąć go teraz z Neapolu, nie byłoby ani pożytecznėm, ani rozsądném. P. Farini ma objąć wydział spraw wewnętrznych, ale wówczas jeśli p. Depretis nie przyjmie posady robót publicznych lub marynarki. P. Cordova stanąłby na czele skarbu, lecz margraaia Pepoli pragnie także téj posady. Niektórzy zapominają się tak dalece, że panu Crispi oddają sprawy wewnętrzne; ale niepodobna temu wierzyć.

Jakiż będzie programmat pana Rattazzi? Jeżeli nie usunie słowa *Piemont* i nie zastąpi go słowem *Włochy*, nie będzie to programmat według serca i widoków narodu. Iść wbrew mniemaniu powszechnemu, byłoby to samo, co narazić Włochy przez obudzenie stronnictw. Należy dążyć do zupełnego wyzwolenia Włoch, dążyć śpieszniéj lub powolniéj, ale nieustannie.

— Czytamy w dzienniku *Italia:*

Oddawna już krążyła wieść o rozterkach między ministrami. Niechcieliśmy temu wierzyć; ale dziś, w obec zdarzeń dokonanych, potrzeba światła; i światło zabłysło, kiedy zbliżymy prośbę ministrów o uwolnienie z wypadkiem zdarzonym w tym samym dniu, w którym ta prośba została zaniesioną.

Tym wypadkiem jest głos p. Cordova, ministra rolnictwa, wyrzeczony na posiedzeniu izby 28 lutego.

Prezes rady i dalsi ministrowie, widzieli w głosie pana Cordovy dowód rozterki, którą wszelkiemi sposobami starali się byli ukoić.

Tegoż samego dnia, w którym p. Cordova miał rzeczoną mowę, baron Ricasoli posłał pierwszy list do króla, prosząc o uwolnienie.

Z drugiéj strony, po odrzuceniu 2-go artykułu projektu do prawa o izbie obrachunkowéj, przez senat, hrabia Bastoggi minister skarbu, zażądał uwolnienia od prezesa rady.

W tych obu wypadkach baron Ricasoli widział i niezgodę w gabinecie i oppozycję w senacie. Taki stan rzeczy uczynił niemożliwém uzupełnienie ministerstwa.

Wówczas baron Ricasoli rozumiał, iż winien był własnéj godności złożyć w ręku królewskim powierzoną sobie władzę; kiedy naj. pan chciał zwlec do czasu uwolnienie, baron Ricasoli nie sądził, aby mógł spełnić tę wolę królewską.

— Piszą z Turynu do dziennika *Perseveranza.*

Niektórzy przyganiają baronowi Ricasoli, że usuwa się od steru rządu, przedtém nim izba objawiła swą nieufność. Takie postępowanie jest sprzeczne ze zwyczajami parlamentowemi. Ale zgłębiwszy powody barona Ricasoli, trzeba przyznać, że postąpił nadzwyczaj oględnie. Zagłosowanie nieufności, wywołałoby najżywszą walkę w izbie poselskiéj; dotychczasowa większość rozprysnęłaby się na rozmaite odłamy; zawrzałyby nienawiści osobiste i długo czekaćby może przyszło na wskrzeszenie znowu téj większości, któréj Włochy przywykły wierzyć, na któréj spoczęły ich nadzieje, w najważniejszych zadaniach narodowej sprawy. Ktokolwiek obejmie puściznę po baronie Ricasolim, nie zdoła stracić z uwagi głównego zadania narodowego, inaczéj bowiem taki nieutrzymałby się długo u steru, wywołałby nową zmianę gabinetu; a te zmiany, ciągle ponawiane, podkopują wiarę ludu w trwałość władzy i otwierają szerokie wrota wszelkim działaniom stronnictw. Dobrze więc zrobił znakomity mąż stanu; w całém jego postępowaniu odbija się niezaprzeczona szlachetność i moc duszy, która mimowolnie czyni go przedmiotem powszechnego poważania.

Neapol 1 marca. Poczynają mówić o nowém krzątaniu się komitetów burbońskich, około zaciągów zbójeckich, i już wieść, że w kwietniu rozpoczną się ich krwawe łupieztwa, znajduje powszechną wiarę. W Monte Cavallo i w Frosignone, jenerał Clary zaciągać poczyna zbójców, mających wtargnąć do Neapolu przez Sora. Książe Scilla przybył tu z Paryża dla naocznego przekonania się, co komitety burbońskie zamierzają czynić i co czynią. Porozumiawszy się z tutejszymi reakcjonistami, wrócił nazad do swojego pałacu na ulicy Luxemburgskiéj w Paryżu, dla zbierania składek na przedmieściu św. Germana. Być bardzo może, że cząstkowe rozboje zawichrzą spokojność prowincji, ale to pewna, że nie wpłyną bynajmniéj na przekonanie ludu. W Neapolu zdrowe pojęcie o rzeczach przemaga i kiedy niedawno dwaj jacyś złoczyńcy podrzucili bomby przy żelaznym domku, w którym sprzedają bilety do teatru San-Carlo, na huk bomb pękających, wszyscy odpowiedzieli okrzykami: *Niech żyje Wiktor-Emmanuel! Niech żyje Garibaldi!* Za Burbonów każdy podobny objaw był hasłem do rozruchów, przeciwnie dzisiaj, zdaje się, że umacnia między ludem przywiązanie do rządu.

Francja.

Paryż, 4 marzec. Senat zagłosował adres, niemal jednomyślnie. Trudno było oczekiwać tego po rozprawach nad paragrafem, tyczącym się spraw włoskich; obawiano się przez chwilę, aby większość nie przechyliła się na stronę kardynałów i nie zmieniła tekstu paragrafu w duchu prośby do rządu, o popieranie w Rzymie polityki wyłącznie katolickiéj. Ale p. Billault głos zabrał; wytłómaczył politykę cesarza przedewszystkiem pojednawczą; okazał, iż należało układać się, nie rzucając się ani na jedną, ani na drugą ostateczność; że ze strony Włoch zagrażać mogą zapędy stronnictwa Mazzinistowskiego, a nawet uniesienia samego Garibaldiego; że z drugiej strony co do Rzymu żałować przychodzi, że tam rząd znajduje nieodzowny upor i stanowczą odmowę wejścia w układy. Myśl tego ślicznego głosu pana Billault, da się skreślić w kilku wyrazach: nierozdzielajcie się, skupcie się około cesarza, aby powagę Francji wesprzeć jeszcze powagą waszéj jednomyślności. W trudnych okolicznościach, nie należy przedstawiać światu obrazu rozdwojenia; sprawa, którą Francja popiera, zawsze wygraną być musi, skoro cesarz może śmiało występować, będąc pewnym, że naród z nim trzyma. Te szlachetne wyrazy znalazły posłuch, im to należy przypisać przyjęcie adresu. Zauważano, że między tymi, którzy głosowali z mniejszością, znajdowali się prawie wszyscy kardynałowie.

Nigdy p. Billault nie rozwinął większéj wymowy, logiki i mocy; głos jego wywrze we Francji stanowcze następstwa. Oddawna rząd nie przemawiał tak jasno, nie dot-

knął się wszystkich szczegółów tak otwarcie. Cesarz na swoim małym balu zdawał się być uszczęśliwionym z takiego obrótu i głośno wynurzył uwielbienie swoje dla zdolności pana Billault. Książe Napoleon znajdował się na obiedzie familijnym; po stole, cesarzowa długo z nim rozmawiała; dniem zaś pierwiéj, niemniéj długą miał rozmowę z cesarzem.

Ukończenie rozpraw w senacie snadniejszemi zapewne uczyni rokowania z ciałem prawodawczem, którego stanowisko jest wielce kłopotliwe: chciano wyjść z niego przez naznaczenie opłaty dożywotniej, ale to nie poprawiłoby stosunku izby względem rzędu. Pan Juljusz Favre doradzał wznieść pomnik z wypisaniem imion tych wszystkich, którzy wzięli udział w wyprawie chińskiéj.

Dnia 5 marca. Członkowie ciała prawodawczego, po wysłuchaniu sprawozdania pana de Jouvenel przeciw uposażeniu hrabiego Palikao, zawiesili posiedzenia aż do dnia 6-go marca; lecz zostali wezwani nadzwyczajnie na dziś, dla wysłuchania tego co prezes miał im oświadczyć. Ta przerwa kilku dni dobrze była użytą i usiłowania zbliżyć układ polubowny między rządem, albo raczéj między panującym z ciałem prawodawczem, doprowadziły do rozwiązania, które osłania i godność cesarza i przekonania przedstawicieli kraju.

Posiedzenie środowe 5 marca prezes otworzył następną przemową: „Mości panowie, wczoraj miałem zaszczyt otrzymać list od cesarza i natychmiast pośpieszyłem z wezwaniem izby, aby nie stracić ani chwili w udzieleniu izbie i krajowi pisma, które znajduję zdolnem do wzmocnienia jeszcze tych ogniw, jakie łączą ciało prawodawcze z panującym. (Przeciągłe poruszenie).

Wśród głębokiego milczenia, hr. de Morny czyta co następuje.

„Mój kochany prezydencie,

„Szczerze ubolewam nad nieporozumieniem, jakie zdaje się panować między mną a ciałem prawodawczem. Duch naszych instytucij i dobrze znane uczucia moje dla izby, powinny by były nas od tego zasłonić. W istocie bowiem dziś starcia się stały się prawie niemożliwemi. Prawa są roztrząsane dla nich samych, nie zaś w celu utrzymania lub obalenia gabinetu. (Bardzo słusznie! To prawda!) Skoro rząd wyraził bez ogródki swoje zamiary, uchwały ciała prawodawczego są tém swobodniejsze, że w razach zwyczajnych niezgoda w niczem biegu spraw tamować nie powinna (Nowe potwierdzenia).

„Według tego niezaprzeczonego systematu odmowa izby w przyjęciu projektu uposażenia, byłaby zapewne dla mnie dotkliwą, lecz w niczemby nie wpłynęła na moje uczucia i postępki. Pojmuję wszakże, z wyjaśnień, które mi kochany prezydencie dostarczyłeś, że zdarzenie, mało znaczące z początku, nabrało przez zbieg połączonych z nim okoliczności dość wagi, do postawienia większości w potrzebie przykrego wyboru (poruszenie), skutkiem czego, wielka liczba deputowanych, jak mi to powiedziałeś, wolałaby prawo obejmujące w swéj całości wyjątkowe wojenne zasługi. Przyjmując ten pomysł, postanowiłem przedstawić nowy projekt, mocą którego po roztrząśnieniu przez izbę ogólnéj zasady, dałyby się zapewnić w sprawiedliwych obrębach, wszystkim nadzwyczajnym przewagom od marszałka aż do prostego żołnierza, nagrody godne wielkości kraju. (Żywe oznaki przyzwolenia).

„Ciało prawodawcze, od którego ciągle doznawałem najzacniejszego spółdziałania, które dopomogło mi założyć cesarstwo i wprowadzić instytucje co nas przeżyją, ujrzy z przyjemnością, miło mi to myśleć, skwapliwość moją w przyjęciu środka odnowienia wzajemnéj ufności i zatarcia śladów niezgody, zawsze dotkliwéj między władzami pochodzącemi z jednego źrzódła i sumiennie pracującemi w jednym celu.

„Przyjmij kochany prezydencie zapewnienie szczeréj mojéj przyjaźni." *Napoleon.*

Pałac Tuileries 4 marca 1862-go r.

Odczytanie powyższego listu wywołało grzmiące i ponawiane okrzyki: Niech żyje cesarz!

Prezes głosem bardzo wzruszonym. Mości panowie, ten samorzutny i jednomyślny objaw jest najlepszą odpowiedzią, jaką mogę zanieść cesarzowi.

Ze wszystkich stron. Tak jest, tak jest, niech żyje cesarz!

Prezes. Zamykam więc posiedzenie; jutro przystąpimy do rozbioru adresu.

W chwili, w któréj hr. de Morny opuszczał krzesło, wielka liczba deputowanych otacza go dla wynurzenia mu na wyścigi żywéj radości.

Dzienniki wyzwolone podzielają radość izby. Dzięki Bogu, rząd uniknął starcia się, mniemanie powszechne zostało zaspokojone i szczodrobliwe wynagrodzenie spłynie na walecznych, za ich świetne przewagi.

Pięciu członków oppozycji, podobnie jak i w latach dawniejszych złożą *poprawy* na stole ciała prawodawczego. Te poprawy, nie mające nadziei być uchwalonemi, a nawet roztrząsanemi, poczytywać należy za prostą protestację, za środek wypowiedzenia potrzeby reform, które panowie Juljusz Favre, Darimon, J. Olivier, Picard i Hénon, uważają za niezbędne. Na tegorocznym parlamencie będzie sześć takich popraw; między niemi pierwsza żąda szczerego powrótu do rządu wolności, inne domagają się sądów przysięgłych na wykroczenia druku, ulepszeń w systemacie wyborczym; zostawienie mianowania władz municypalnych gminom, nie rządowi, — nakoniec obalenie prawa powszechnego bezpieczeństwa.

— Podajemy dokończenie mowy wyrzeczonéj przez ks. Napoleona na posiedzeniu 1-go marca.

„Pragnę dowieść téj konieczności, omijając nawet powody podrzędne. Ktoś powiedział: Francja jest dosyć bogatą na opłacenie swojéj chwały; dodam, że nie jest dosyć bogatą na płacenie (chciałbym użyć wyrazu najmniéj obraźliwego) za kłopoty i niewdzięczność, którą spotyka. Taki stan rzeczy trwać nie może.

Francja nie mało dawała rad dworowi rzymskiemu, z jakiegoż stanowiska wychodziła? Te rady zagajone zostały sławnym listem prezydenta rzeczypospolitéj do Edgara Ney w 1849, prawie na samym początku zajęcia Rzymu. Z tego powodu, słyszę, że byłoby najniewłaściwszem opuszczać dziś Rzym, kiedyśmy go wówczas zajęli.

Nie wchodzę, w jakich okolicznościach związany był albo nie prezydent rzeczypospolitéj, przez większość zgromadzenia prawodawczego; całą odpowiedzialność przyjął on na siebie. Mam więc prawo do użycia listu, który napisał, wiedząc dobrze, że wywoła niezadowolenie większości zgromadzenia. A więc go użyję.

Pisano do niego z Rzymu szczegółowie o rzeczywistym stanie wojska francuzkiego i o potrzebie reform ze strony rządu; usłuchał tylko głosu swojego sumienia, popędu swojego serca i napisał ów sławny list do pułkownika Ney, który tu przytaczam.

(Po odczytaniu listu, ks. Napoleon mówi daléj).

Niech senat uważy, że ten list zawiera warunki jasne, stanowcze; sam nie byłbym w stanie wypowiedzieć z téj mównicy dokładniejszego programmatu.

Owoż, ci nawet, którzy najwięcéj ganią wyprawę rzymską, źrzódło obecnych zawichrzeń, muszą oddać hołd tym mądrym radom prezydenta rzeczypospolitéj Ludwika Napoleona; gdyby rady jego były usłuchane, wszystko miałoby dziś inną postać, bo wzburzenie, które obecnie usiłujemy koić, nie miałoby miejsca.

Od r. 1850 do 1860-go cóż czyni Francja? Oto spełnia powinność Kassandry; ciągle występuje z radami i ciągle te rady są odrzucane; nie potrzebuję ich przypominać. Cesarz chciał, aby były wiadome i rozkazał je rozgłosić.

Nazajutrz po układzie Villafrankskim, cesarz zaledwie zszedłszy z pola bitwy solferyńskiéj, znowu pisze do ojca św. znowu podaje rady mądre i szlachetne.

Mówią, że te ostatnie różniły się od pierwiastkowych; ale czyż polityka wczorajsza może być zawsze polityką jutra? Polityka nie jest nieruchomą, albo lepiéj mówiąc, jeżeli cel polityki jest niezmienny, środki do jego dostąpienia zmieniają się nieustannie, stosownie do biegu okoliczności. Cesarz pisze z Mediolanu, radząc stolicy świętéj układ o Bolonję i cztery legacje; znowu tę radę odrzucono.

Późniéj wzywa rząd papieski do wyrzeczenia się tego co stracił, by ostatecznie ocalić dziedzinę św. Piotra; nowe odrzucenie. Dziś, po wielkich wypadkach zaszłych we Włoszech, jeszcze Francja przekłada papieżowi, zaledwie miesiąc upłynął od tego czasu, osnowę ugody. Nie wiem jakie są te nowe warunki, ciekawy byłbym je poznać, ale depesza nie mówi jakie doradzano rozwiązanie.

To tylko pewna, że niepowiedziano papieżowi, że przekładane warunki są już niezmienne; jak zawsze przemówiono językiem przyjacielskim, pojednawczym. Jakaż na to odpowiedź? nie! ciągle nie! rząd papieski okazuje się upartszym, nieubłagańszym nawet, niż rządy austryjacki i hiszpański.

W istocie, oba te rządy uczyniły pewien rodzaj przełożenia, w którem radziły władzy papieskiéj zrzec się Bolonii i 4-ch legacij, dla otrzymania rękojmi za pozostałość; lecz kardynał Antonelli pośpiesza z odpowiedzią: nie! nie przyjmujemy; wszystko albo nic! To znaczy: czekamy póki nas nie pobiją, bo jeżeli w dobroduszności swojéj utrzymacie *statu quo*, odbierzemy wszystko.

Przystępuję teraz do jednego z najgłówniejszych szczegółów, roztrząsanego przez nas zadania; chcę mówić o jednocie włoskiéj z Rzymem za stolicę.

Jednota włoska bez Rzymu za stolicę, jest niemożliwa. Słuchajcie ludzi najoględniejszych, najumiarkowańszych, ale ufnych w przyszłość włoską, a powiedzą wam, bez porywczości, ze spokojem: że obecne położenie jest niepodobne, że jest to stan przechodni, potrzebujący rozwiązania. Nie mogę przy téj zręczności nie zwrócić uwagi senatu na umiarkowanie Włochów.

Nie lękam się, aby co podobnego zdarzyło się w naszym kraju, lecz jeśliby nastąpiło, pragnąłbym, aby dał widok takiegoż umiarkowania. Zapewne nadużycia pojedyńcze, zbrodnie nawet, miały miejsce; zdziwiony jestem: że nie były częstsze w tym kraju po wypadkach i po podżeganiach, które obudziły wszystko co najsilniéj drga w sercu człowieka i obywatela.

Odwołuję się do moich przeciwników politycznych; sami uznają, że ludność włoska zachowała się ze spokojem i umiarkowaniem.

W tym sporze o jednotę Włoską z Rzymem za stolicę napotykam dowód utworzony dla potrzeby sprawy, ale który rzeczywiście nigdy nie istniał. Mówią, Rzym nie należy do Rzymian, Rzym nie należy do Włochów; jest to pewny rodzaj spólnéj własności całego katolicyzmu. Lecz to jest błąd polityczny, nie mogący wytrzymać rozbioru, nie powiem żadnego męża stanu, ale żadnego człowieka dobréj wiary, chcącego choć dzień jeden poświęcić jego zbadaniu.

Ani jeden z ludzi poważnych nie ośmieli się powiedzieć, że Rzym jest rodzajem własności, do wiernych rąk oddanéj, którą jeden papież przekazuje drugiemu. Lecz to państwo papieskie utworzone zostało przez nieszczęsny traktat wiedeński; ani jedno z zastrzeżeń tego traktatu nie obeszło się bez podpisów państw niekatolickich, Anglji, Prus, Szwecji i Rossji.

Ten dowód, który nigdzie nie wynurzył się otwarcie, tylko w rozprawach senatu, nie śmiał nawet zająć miejsca w depeszach, wyjąwszy jednéj, ale złowrogiéj treści. Przedstawiły go Austrja i Hiszpanja w jednobrzmiennych niemal wyrazach, to nadaje mu cechę wstrętną, a nadto sam dowód jest ubocznie tylko natrącony.

Dla tego właśnie natychmiast odrzucić go należy; boć potrzeba być szalonym, aby przypuścić, że posiadłości świeckie kościoła, są ustanowienia Boskiego i że spadły z nieba z granicami już zakreślonemi przez samą Ewangelję.

Nie, Rzym nie znajduje się pod prawem wyjątkowem. Że książęta kościoła, uniesieni przez synowską pobożność, zapomniawszy może na senatorską dostojność, a pamiętniejsi na purpurę którą noszą, władzę świecką papieżów stawią wyżéj nad wszystkie inne, łatwo to pojmuję; jest to pewnego rodzaju dowodzeniem serca, nie rozumu. Odpowiadać więc im nie będę, ale zwracam się do powszechności.

Rząd świecki papieżów, uwolniony od zwrótów mówczych w które jest spowity, nie ma innego znaczenia jak wszelkie inne rządy. Ludność rzymska ma te same prawa, jak medjolańska, paryzka, brukselska, i jeżeli by ich użyła do wyrugowania panującego, z umiarkowaniem, ze spokojem.... (uśmiechy) uczyniła by to samo co uczyniły inne ludności.... (szmer). Uczyniła by to, co uczyniły ludy w Belgji we Włoszech, a Europa uznała, że miały prawo to uczynić.

Co do jednoty Włoch, jest to pomysł odwieczny, wszyscy wielcy mężowie włoscy zrośli się z nim, od XIII wieku, wszyscy chcieli jednoty swojego kraju. (Potwierdzenie na rozmaitych ławach).

Nie zadziwię senatu, kiedy powiem, że z dobrą wiarą i rozczuleniem, dobadując się uczuć Napoleona I-go w tym przedmiocie, odkryłem rzeczy smutne ale ważne.

A naprzód: jenerał Bonaparte; wiadomo zaś że w jenerale Bonapartym był zarod Napoleona, w odezwie 1797 przyrzekł Włochom *jednotę*, jeżeli potrafią wystawić wdrożone do boju zastępy.

Późniéj, przebiegłszy ten niezmierzony zawód, który poczyna się w Tulonie a kończy na św. Helenie, cesarz-jeniec, cesarz oddany swym filozoficznym dumaniom, cesarz przepowiada jednotę włoską. Mówi o potrzebie zgromadzenia całéj ludności półwyspu pod jeden rząd, mogący wyświadczyć ogromną usługę Europie, tworząc na lądzie przeciwwagę między Francją i Austrją a na morzu między Francją i Anglją.

Czyż te słowa są dosyć jasne?

Mości panowie, chcę przytoczyć wspomnienie dziejowe, które, wyznam, żywo mię wzruszyło. W 1814-m, patryoci włoscy, podług naszych przeciwników niepoprawni, podług nas bohatérscy i wytrwali, zamarzyli o poruszeniu narodowem dla wyzwolenia Włoch z pod austryjackiego jarzma. A mąż, który zasiadał w téj izbie, to jest w izbie parów, hrabia Rossi, szlachetny patryota, zespolił się z temi usiłowaniami. Ci zacni Włosi uczynili odezwę do olbrzyma uwięzionego na ich ziemi i żądali jego rady. Napoleon był na wyspie Elbie; przyjął ich zwierzenia. O mój Boże czy to był sen? Napoleon, przywykły do kierowania ogromem zastępów zbrojnych, czyż mógł pomyślić stanąć na czele garstki szlachetnych zapaleńców, pragnących kraj swój wyzwolić?

Napoleon może się nawet nie wahał, ale to pewna, że wyrzekł słowa tak czułe, tak noszące pieczęć jego duszy, że ich prawdziwości podejrzewać niepodobna.

„Byłem wielkim na tronie Francji, odpowiedział Napoleon. (Powtarzam to nim daléj pójdę, może to był sen, ale nakoniec i sny wielkich ludzi mają coś godnego uszanowania). Byłem wielkim na tronie Francji potęgą oręża; wybitnem znamieniem mojego panowania, była sława zdobyczy. W Rzymie będę mężem pokoju. Uczynię jednolity naród z tylu rozproszonych pierwiastków; pootwieram drogi i kanały; zapewnię odbyt handlowi włoskiemu; prawa będą spisane dla Włochów. W Neapolu, Wenecji i w Spezzia, pootwierają się rozległe warstaty morskie, które ten wielki kraj zasilą nową potęgą!

„Rzym zamienię na port morski. Powstanie lud wielki ze 30-tu miljonów mieszkańców. Wojny i zdobycze ustaną! Będę miał waleczne wojsko, na którego chorągwiach zapiszę te słowa: *Biada temu, kto mię dotknie!* i nikt dotknąć się ich nie ośmieli. Byłem Cezarem we Francji, będę Kamilem w Rzymie. Rzym wyrówna Paryżowi."

Tak mówił Napoleon 1 października 1814-go; ale to był tylko ustęp, wracam do mego przedmiotu, do jedności włoskiéj. Ten pomysł jedności włoskiéj góruje, może nawet mimowolnie, w czynnościach Napoleona III-go.

Jadąc do Włoch, cesarz, nie w żadnem piśmie dyplomatycznem na ten raz, ale w proklamacji do wojska i ludu, w któréj wylało się jego serce, cesarz powiedział: Potrzeba, aby Włochy były wolne aż do Adryatyku; Włochy powinny były być wrócone samym sobie, Włosi powinni byli zostać ludem jednolitym.

Czyż te wyrażenia są dość jasne! Cesarz chciał Włoch należących do siebie samych, ogłaszał ich jednotę. A więc cóż by było w tém zdumiewającego, gdyby to jego pragnienie spełniło się nakoniec dzisiaj, gdybyśmy oddali jednocie włoskiéj tę drobną cząstkę, któréj jeszcze nie dostaje, Rzym i jego obwód. O wiem, co mi powiedzą: A Wenecja? Na Wenecji zbywać jeszcze będzie jednocie włoskiéj. Nie przyjmuję więc zarzutu.

Bo uważcie dobrze, w Wenecji niema naszych żołnierzy! Gdyby nasi żołnierze byli w Wenecji, w Mantui, w Weronie, dopomnielibyśmy się z równą siłą, aby te posiadłości wrócić jednocie włoskiéj. Na nieszczęście niema ich tam, a więc próżno zajmować się tem pytaniem. Ale nasza chorągiew powiewa w Rzymie, miasto i jego obwód są pod naszą strażą; nic więc dziwnego, iż pragniemy, aby ten stan anormalny nakoniec ustał.

Mości panowie, jeżeli w proklamacji cesarza, którą odczytałem, słowo jednoty nie jest wyraźnie wypowiedziane, rzec można, iż było w jego sercu, że wylewało się z kałamarza, w którym maczał swe pióro; że idea całkowicie się w niéj mieściła.

Czytajcie drugą proklamację cesarską, po bitwie pod Magenta, przed wejściem do Medjolanu.

Przyrzeka Włochom, że żadna przeszkoda nie wstrzyma objawu ich prawych życzeń, wzywa do korzystania ze szczęścia, które się im nadarza. Zagrzewa do zjednoczenia się w jeden cel wyzwolenia kraju, mówi nakoniec: Bądźcie dziś tylko żołnierzami, jutro zostaniecie wolnymi obywatelami wielkiego kraju.

Czyż pomysł jednoty mógł być jaśniéj wyrażony?

Gdyby mieszkańcy Rzymu, ze strzelbą w jedném a tą proklamacją w drugiem ręku, udali się w roku 1859 na pola bitew w Lombardji, czyżby uczynili co innego, prócz usłuchania głosu wielkiego władcy? Kiedy późniéj, Włosi z tą proklamacją w jednem, a z kartą głosowania za Włochami jednolitemi i Wiktorem-Emmanuelem w drugiém ręku, śpieszyli do urny, czyż nie poszli za radą Napoleona III, wchodzącego jak zwycięzca do Medjolanu.

Dziś zaś jakież jest położenie?

Rzym jest w naszem ręku; jesteśmy rozjemcami sprawy rzymskiéj. Od postępowania Francji w téj mierze, zależy większa lub mniejsza spokojność ziemi włoskiéj.

Kiedy pozostaniemy w Rzymie, to zawichrzenie przyjmie rozmiary niebezpieczne. Kto je wstrzyma? Kto zniszczy jednotę włoską? Tylko Austryjacy albo my uczynić to możemy. Nie chcę was krzywdzić domysłem że interwencja austryjacka jest możliwą, nie przypuszczam nawet tego, bo umiem oszczędzać moich przeciwników.

Wszyscy, którzy tu zasiadamy, jesteśmy Francuzami; niema ani jednego z moich przeciwników, z tych co najzawzięciéj walczą przeciw mniemaniom wrosłym w moje serce, któryby choć na chwilę dopuścił, że Włochy mogą być znowu wydane na wojnę austryjacką.

Ale przecież ten stan rzeczy musi mieć swój koniec. Nie jest to dowodzeniem mównicy, idzie tu o wysoką polityczną konieczność.

Ten stan jest nieznośny dla Włoch, nieznośny dla Francji, nieznośny dla Europy; — potrzeba ukoić wzburzenia. Owoż, jeżeli chcecie aby zniknęły, jeden jest tylko środek — wyjść z Rzymu! Bez tego nie uspokoicie wzburzenia Włoch! *Statu quo* byłoby zamięszaniem nieustającém, pobudką wiecznego wrzenia.

A w obec tego powszechnego wrzenia, czy pomyśleliście o stanie naszych walecznych żołnierzy w Rzymie, o tém co ich może tak prędko czeka? Czyż zamienicie naszych żołnierzy na żandarmów władzy przez dzieje potępionéj? Czyż będą oni zniewoleni bronić rządu naganianego we wszystkich pismach, pochodzących od rządu ich cesarza? Rządu, zapoznającego wszystkie szlachetne dawane mu ostrzeżenia (nie! nie!)

Jakiż jest ten stan rzeczy?

Ten stan rzeczy jest powinnością; bez wątpienia żołnierze nasi ją spełnią ze zwykłem poświęceniem; ale pozwólcie nam przynajmniéj jęknąć nad koniecznościami, w które jesteśmy wciągnięci.

Toż same położenie miało wynurzyć się w roku 1849. Papież żądał, aby nasi żołnierze poskromili legacje, lecz ten sam Rossi, o którym tylko co wspomniałem, wykazał całą zgrozę aby żołnierze z Montenotte i Lodi mieli wprzęgać Legacje w jarzmo księży.

Kilka słów pozostaje mi tylko do zamknięcia tych długich rozpraw. Starałem się uchylać i nadal postaram się w rozwiązaniu, które wnet wskażę, uchylać wszelką ideę religijną i duchowną. Nie należy do nas wtém miejscu ani sąd o niéj, ani nagana, uznajemy ją godną naszego uszanowania, ale niech nam nie przeszkadza w polityce, któréj trzymać się zamierzamy.

Ta taktyka polegająca na ciągłem mieszaniu pierwiastku duchownego ze świeckim, nie jest naszą: my nie nazywamy cesarza Herodem! Nie w ten sposób spełnia się posłannictwo porządku i pokoju? A więc cóż według mego zdania rząd uczynić powinien? Powinien naprzód jasno zastrzedz wszystko co jest potrzebném dla zapewnienia ojcu św. czci, godności, niepodległości duchownéj: co skoro nastąpi w sposób obmyślany przez mężów stanu, potrzeba, aby rząd cesarski oznajmił w Rzymie co sądzi być dla siebie możliwem uczynić dla niepodległości duchownéj ojca św.; po zaspokojeniu zaś sumień katolickich w téj mierze, niech wojska nasze wyjdą z Rzymu.

Wówczas papież zostanie w obec swojego ludu, a w razie, gdyby namiętności wtrąciły miasto w zaburzenia grożące bezpieczeństwu ojca świętego, zaręczmy go, że na jego żądanie żołnierze włoscy, skoro ich wezwie, potrafią go obronić.

Co mówię jest najszczerszém. Kiedy papież znajdzie się sam jeden w obec Rzymian, pomyśli co ma uczynić. Jeśli Rzym opuści, będzie to bezwątpienia wielkie nieszczęście, będzie to przyczyną wielkiego wstrząśnienia sumień; ale jestem przekonany, że to wstrząśnienie będzie tylko chwilowe.

Nie zapominajcie nauki dziejów: mówi ona, że dwór rzymski ustępuje przed koniecznością, ale bez konieczności nigdy. Dajmy więc jéj poznać nasze postanowienie z uszanowaniem, ale z mocą, a wówczas ustąpi.

I to nie tylko pod wpływem strachu. O! nie, są okoliczności, w których rozum koniecznie wziąść musi górę; czas doprowadzi do układów, tak przez cesarza upragnionych między papieżem i Włochami; bo niepodobna, aby promień boskiego pokoju, pojednania nie zstąpił na ojca świętego i nie natchnął mu myśli postawienia wyżéj własnéj godności, czci, niepodległości duchownéj, od splachcia władzy świeckiéj, zawsze zaprzeczanéj, taką ceną strzeżonéj, a którą jednak stracić musi.

Żądam więc, aby cesarz dał głos swój usłyszeć, aby objawił swe postanowienie, czas już nadszedł, sprawa dojrzała, rzecznicy już odbyli głosy, trzeba ją sądzić. Tak jest, mam zupełną ufność w rządzie cesarskim, mówię nie o teraźniejszości, ale o przyszłości. Mam zupełną ufność, że sprawa włoska rozwiąże się w duchu jednoty, że rozwiązanie nie może być inne pod Napoleonem III, tylko takie jak pod Napoleonem I, że władza duchowna musi być odłączona od władzy świeckiéj, że cień i genjusz wielkiego cesarza natchnął postanowienia jego następcy."

— *Paryż 6 marca. Monitor powszechny* umieszcza co następuje:

Rada stanu, z rozkazu cesarza zajęła się roztrząśnieniem projektu do prawa zapowiadanego w liście najjaś. pana, pisanym do prezydenta ciała prawodawczego.

W myśl tego projektu do prawa, roczna renta, któréj wysokość nie jest jeszcze oznaczona, zostanie wpisaną do wielkiéj księgi długu narodowego, aby z niéj nagradzać, sposobem pensji lub uposażenia, niezwykłe przewagi jenerałów, oficerów i żołnierzy wojsk lądowych i morskich, tudzież zasługi wyjątkowe położone w ciągu wojen. Cesarz pojedyńczemi dekretami wyznaczałby te pensje lub uposażenia, określając warunki ich pobierania, w razie gdyby miały być spadkowemi.

Te dekreta będą pojedyńczo tak w *Monitorze* jako też w *Dzienniku Praw* umieszczone.

Austrja.

Wiedeń, 2 marca. Piszą do dziennika *Drezdeńskiego* co następuje:

Mogę dziś z pewnością donieść, że Austrja porozumiała się zupełnie z Prusami w sprawie Hesskiéj, gabinet wiedeński przyjął wczoraj ostatnie przełożenia pruskie, w których hr. Bernstorff przychylił się o ile można do widoków austryjackich przeciwnych przywróceniu prawa wyborczego 1849 r. Obadwa gabinety złożyły sejmowi związkowemu wniesienie zbiorowe, które najprawdopodobniéj wzięte zostanie pod rozbiór na najbliższém posiedzeniu; przyjęcie jego jest zapewnione. W tym składzie rzeczy oba dwory już wprost nie zwrócą się do dworu kasselskiego, gdzie przesilenie ministerjalne jest nieuchronne. Jeden tylko p. Goddaens zostanie na posadzie i zajmie się utworzeniem nowego gabinetu.

— Komitet skarbowy rady cesarstwa nie bardzo przychylnie przyjął projekt konwencji, mającéj zawrzeć się między bankiem i państwem. Wywołało to rozmaite wieści, a między innemi, że p. Plenner minister skarbu ma być zmieniony przez barona Dobblhoff, członka izby poselskiéj, byłego ministra spraw wewnętrznych w 1848 i dawniejszego pełnomocnika Austrji w Hadze.

Mówią że pierwszy parlament rady cesarstwa będzie zamknięty w początkach kwietnia; poczém natychmiast mają być zwołane sejmy prowincjonalne. Na wsparcie tego domysłu przytaczają, że dodatkowe wybory posłów sejmowych odbywają się teraz w Czechach; że namiestnictwo węgierskie w jednym z okólników swoich oznajmiło, iż tymczasowy stan rzeczy dopóty ma być utrzymany, dopóki sejm nie rozwiąże toczących się zadań. Spółcześnie z sejmem węgierskim mają być zwołane sejmy: kroacki i siedmiogrodzki, co szczególniéj nadwątliłoby znaczenie sejmu węgierskiego.

W kołach dobrze świadomych tajemnic dworskich, rozeszła się wieść, że cesarz uda się w kwietniu do Berlina, dla widzenia się z królem Wilhelmem, coby wskazywało, że mimo rozterków dyplomatycznych, stosunki między Austrją i Prusami nie są tak wytężone jak rozumiano.

Wiedeń, 4 marca. Podróż cesarza do Wenecji jest ostatecznie postanowiona między 7 a 10 marca. Nieobecność potrwa krótko. Cesarz obejrzy wielkie roboty około twierdzy werońskiéj. Zamierzają im nadać największy pośpiech. Oprócz żołnierzy inżynjerów, użyto jeszcze zwykłych robotników w liczbie 1209, która to liczba ma być podniesiona do 1500.

Komitet skarbowy rady cesarstwa zebrał się dnia 3 marca i mimo żwawy opór hrabiego Rechberg, który osobiście zabierał głos w komitecie, postanowiono zmniejszyć o 50 tysięcy franków utrzymanie ambasadora przy stolicy świętéj. W obecnych okolicznościach, oraz przez wzgląd, że to osobiście dotyka pana Bacha, to postanowienie komitetu skarbowego nie jest bez znaczenia.

Rozszerzone od dni kilku pogłoski o zamknięciu posiedzeń rady cesarstwa, pokazały się bezzasadnemi; można niemal z pewnością powiedzieć, że posiedzenia potrwają do sierpnia, a sejmy prowincjonalne nie będą zwołane, chyba we wrześniu.

Prusy.

Dzienniki ogłosiły tu następny rozkaz królewski, do sądów apelacyjnych:

„Z raportu waszego, d. 31 stycznia, dowiedziałem się, że mój dekret amnestji, wydany d. 18 października 1861 roku, uznany został przez rozmaite sądy za mogący zastosować się także do osób, na które przed tym dniem zapadły wyroki w granicach wyrażonych w amnestji; ale względem których też wyroki nie stały się jeszcze prawomocnemi.

Nie mogę pochwalać takiego tłómaczenia; wszakże unikając rozporządzeń surowych, chcę zgodnie z waszém przedstawieniem, aby nadal przebaczone zostały wyżéj wymienionym osobom kary, jeszcze nie spełnione i grzywny jeszcze nie opłacone, chociażby wyrok zapadły przed 18-m października stał się prawomocnym i byle późniejsze jakie rozporządzenie nie zaszło, lub byle to rozporządzenie nie wyrzekło kary przekraczającéj obręby, zakreślone w owym wyżéj wspomnianym moim dekrecie.

Berlin 12 lutego 1862 r. *Wilhelm.*

Kontrasygnował von Bermuth.

Berlin 1-go marca. Wiadomo, mówi *Gazeta narodowa*, że komisja budżetowa uchwaliła na wniesienie p. Hagena głosować na budżet rozdziałami, aby nie dopuścić samowolnych przekazów pieniędzy z jednego działu do drugiego. Minister skarbu oświadczył się przeciw téj

uchwale, poczém poseł *Behrent* przełożył, aby w tym roku zaniechać wyżéj wskazanego systematu, lecz aby wyrazić żądanie o zaprowadzenie w roku następnym w budżecie systematu doradzanego przez p. Hagena. Uchwalono ten wniosek słabą większością komissji. Członkowie stronnictwa postępowego przeciw niéj głosowali.

Na dzisiejszem posiedzeniu izby poselskiéj, minister sprawiedliwości wniósł dwa projekta do praw: Jeden ściągający się do opłat przy obejmowaniu puścizny, drugi o prawach służących ludziom załogi okrętowéj.

Gazeta berlinska utrzymywała, że ministrowie protestowali nie tylko przeciw niektórym wyrażeniom, ale nawet przeciw całkowitéj dążności wniesienia *o zadaniu niemieckiem*, przedstawionem przez komisję izby poselskiéj. *Gazeta pruska*, dnia drugiego marca, oświadcza, że jest upoważnioną do złożenia w téj mierze następnych objaśnień:

Oświadczenie komisarza rządowego na parlamencie nie zawiera wcale protestacji. Ogranicza się tylko uwagą, że *redakcja* nowego przełożenia *wspólnego*, nie odpowiada zamiarom i widokom rządu, jakie są wyłożone w pierwszéj komunikacji ministra spraw zagranicznych.

Co do szczegółów, w których *redakcja* rozmija się ze sposobem widzenia rządu, komisarz nic nie wyrzekł w tym względzie na posiedzeniu w komisji.

Co się ściąga *do dążności* przełożenia spólnego, pozostało one takież same, jakie było przełożenie panów Schulca i innych (postępowców), rozumie się zatém samo z siebie, że rząd trzyma się pierwszego swojego objaśnienia na posiedzeniu dnia 24 komisji, to jest, że uznaje w niem chęć dopomagania kierunkowi przez rząd obranemu.

Inaczéj ma się rzecz co do saméj *redakcji* przełożenia, z powodów więc wyrażonych na wstępie, rząd nie może przybrać jego ani pod względem treści, ani pod względem formy.

Czytamy w *Gazecie elberfeldzkiéj:*

Od niejakiego czasu krążą pogłoski o uruchomieniu wojska; te wieści nie mają żadnéj zasady. Przeciwnie nakazano w Berlinie co do załogi przedsięwziąść pewne środki zasługujące na uwagę. Między innemi, w każdéj koszarze jest w pogotowiu zapas ładunków ostrych; żołnierze otrzymali rozkaz unikania miejsc publicznych, w razie zaś jakiego zbiegowiska wracania natychmiast do koszar. Pozaciągano druty telegraficzne między pałacem i koszarami, odlewnia królewska strzeżona jest przez oddział wojska. Po koszarach, przypisują te środki téj okoliczności, że jest podobieństwo do rozwiązania izby poselskiéj. Sądzimy, że ten domysł jest błędny, gdyż między rozwiązaniem izby a użyciem oręża, otchłań jest tak głęboka, jak między nowemi wyborami z zamachem stanu, o którym pewnie nikt nie pomyśli za panowania naszego króla.

Berlin, 5 marca. Dziennik *Publicysta* pisze:

Już niema wątpliwości, że od niejakiego czasu w Berlinie czynią się nadzwyczajne wojenne przygotowania. Nie chcemy mówić, ani o telegrafie urządzonym między pałacem a koszarami, ani o zamienieniu odlewni na koszary, do których przeniesiono jednę drużynę załogi spandawskiéj, chociaż te wszystkie środki przemocą niemal nastręczają myśl, że idzie o obronę osoby i mieszkania królewskiego. Ale zamierzone są inne okoliczności, nadzwyczaj ważne. Tak naprzykład, wznowiono w koszarach zwyczaj, mienia zawsze pod ręką skrzyni z ładunkami. Nie idzie tu wcale o ładunki używane przy ćwiczeniach strzelniczych, bo podoficer służbowy obowiązany jest mieć ciągle przy sobie klucz od téj skrzyni, pod karą półrocznego więzienia. Nadto, od kilku dni wozy działowe napełnione są prochem i kulami; obmyślano środki krótszego ich zaprzęgu, co zdaje się wskazywać, że idzie o łatwiejsze obróty tych wozów w miejscach ściśnionych, jak naprzykład w mieście. Feldmarszałek Wrangiel, dowodzący w Marchjach, oglądał te wozy tak przyrządzone. Nakoniec dowiadujemy się, że w wielu koszarach, złożono rozkaz zapieczętowany, powierzony straży podoficera służbowego i przeznaczony do oddania komendantowi, aby go wręczył bądź za otrzymaniem rozkazu telegraficznego, bądź gdyby bezpieczeństwo zagrażało ulicy. Dzisiejszy lud jest inny od ludu przed 14-tu laty. Przeszedł on przez ciężkie i smutne doświadczenia. Jego polityczne samopoznanie, jego wyobrażenia prawne, nie są dość rozwinięte, aby dobrze wiedział, że gwałtownem powstaniem przeciw sile zbrojnéj organizowanéj, musi koniecznie upaść i nigdy nie nabędzie trwałego prawa. Nawet w obec zamachu stanu, którego zresztą lękać się w Prusiech nie należy, nigdy nie powinien myśleć o wybuchu rewolucyjnym. Usiłować należy dźwignąć nadwątlone prawo, ale w drodze pokoju, stałością i działaniem poważnem. Po cóż więc podobne środki, które muszą żywo niepokoić umysły? *Gazeta Kolońska* powtarza ten artykuł, ponieważ mówi, że pragnie, aby zawarte w nim szczegóły zostały sprostowane.

Nie widzimy przyczyny dla naszego rządu lękania się buntu. Bezpośrednie rozwiązanie sejmu, choćby niesprawiedliwe, nie dało by do tego powodu. Posłowie wróciliby spokojnie do domów. Nowe wybory odbyły by się w najlepszym porządku, ciż sami mężowie wrócili by do Berlina, może z wyjątkiem, że stronnictwo postępowe znalazło by się wzmocnione. Niech rząd zamknie się w obrębach swéj władzy, a lud, który dziennikarstwo zagraniczne, jeszcze niedawno i słusznie nazywało najwierniejszym dla swych królów między ludami Europy, nie pomyśli o przekroczeniu granic prawa. Sądzimy, że tu jest cóś źle zrozumianego. Nigdy rząd nie osłabia więcéj własnéj powagi, jak kiedy odkrywa, że nie ufa swemu ludowi.

Berlin 4 marca. Konwencja wojenna między Prusami a księstwem Waldeck została zawarta. Oznajmują że stany księztwa Lippe pragną zawarcia podobnegoż układu. Wiadomo, że te dwa księstwa składają całość części rezerwy piechoty, przeznaczonéj do współdziałania z załogą przy obronie Luxemburga. Jest zamiar uorganizowania tego kontyngensu, na sposób wojska pruskiego i oddania go natychmiast, pod bezpośrednie rezerwy Prus, tak jak to uczyniono z pułkiem Koburg Gotha.

Nowa Gazeta Pruska, dobre źrzódło wiadomości wojennych, w wielu miejscach prostuje szczegóły podane przez *Publicystę*, wszakże nie twierdzi, aby nie przedsięwzięto środków nadzwyczajnych.

Książe biskup Wrocławski w wielkopostnym liście pasterskim, zarzuca *złemu* dziennikarstwu, że jest szkodliwszem dla religji, niż najkrwawsze prześladowania pierwszych wieków; że miota się na porządek państwa, na władzę którą król ma od Boga i t. d.; kończąc zapytuje, czy nie należało by zawiązywać stowarzyszeń przeciw zarazie złych dzienników.

P. von Bonin, naczelny prezes księstwa Poznańskiego przesłał surowe uwagi księdzu arcy-biskupowi Przyłuskiemu, z powodu listu pasterskiego, wydanego przed wyborami, szczególniéj zaś nagania to miejsce, w którem wspomniano, że w chwilach stanowczych naród kupił się około stolicy świętego Wojciecha, dające niejako do zrozumienia, że ksiądz arcy-biskup chętnie gotów byłby wystąpić w postawie dawnych prymasów.

Grecja.

Dziennik *le Nord* pod dniem 8-m marca umieścił następne uwagi o powstaniu greckiém.

W obec sprzeczności między depeszami urzędowemi, których dostarcza telegraf, a listami wprost pisanemi z Grecji, trudno jest wydać sąd pewny i wyrozumowany o buncie nauplijskim. Jestże to tylko swawola żołnierska? Jestże to rewolucja? Czy cały naród helleński zespala się z tym ruchem, albo czy przychyla się na stronę królewską?—Chociaż wszystko zdaje się przekonywać, że tego ostatniego przypuszczenia przyjąć nie można, niepodobna jednak jeszcze nic stanowczego wyrzec w téj chwili. Wypadki są jeszcze nadto świeże i okryte wielką niepewnością. Poprzestaniemy więc na zbadaniu przyczyn, które, według wszelkiego podobieństwa do prawdy, przewodniczyły powstaniu, i na wynalezieniu związku, jakie mieć mogły ze zdarzeniami kilku ostatnich miesięcy, monarchji greckiéj.

Dowiodły nam listy, jakie otrzymujemy z Aten, że oddawna Grecja znajduje się w stanie przesilenia tém dotkliwszego, że umysły najbardziéj jasnowidzące zdawały się same rozpaczać o szczęśliwem jego rozwiązaniu. Skargi nieustannie przez Greków zanoszone, tak przeciw konstytucji, jak przeciw systematowi rządowemu, biorą swe źrzódło w stanie rzeczy dłużéj trwać niemogącym, bez narażenia królestwa na największe niebezpieczeństwa.

Że rząd konstytucyjny nie działa ku zadowoleniu obywateli wyzwolonych; że król zbyt zaniedbuje, a nawet odpycha pierwiastek narodowy; że naglące reformy odkładają się z roku na rok—oto są zaprawdę zła rzeczywiste, przez, które Grecja cierpieć musi i pragnąć, aby co najprędzéj zniknęły; ale gdybyż to było jedyne zażalenie narodu, stanu rzeczy nie możnaby nazwać ostatecznie rozpaczliwym, i nic nie usprawiedliwiałoby tych gorzkich zaskarżeń, któremi są przepełnione wszystkie listy greckie. Zmiana ministrów, zwołanie nowéj izby, potężny nacisk mniemania powszechnego na króla, mogłyby istotnie zakląć te niebespieczeństwa, a nawet je zatrzeć.

Złe leży głębiéj i nie powinniśmy zapominać, że za temi wszystkiemi pojedyńczemi krzywdami dla wszystkich Greków wynurza się najwyższéj wagi pytanie: to jest pytanie następstwa tronu: Król Otton, nie mający dzieci, komuż ma zostawić tron grecki? Czy dynastja bawarska da nowego króla temu krajowi, którego dzieje, religja i dążności tak mało mają związku z całą przeszłością i wszystkiemi projektami książąt niemieckich? Albo czy Grecji pozwolą swobodnie wybrać sobie króla? Są to wszystko pytania dotąd nierozwiązane i utrzymujące kraj w stanie ustawicznych zawichrzeń i w najzupełniejszéj niepewności na przyszłość.

Grecja, rzeczywiście, nie jest jeszcze ukonstytuowana politycznie w sposób dość silny, aby w razie śmierci królewskiéj, ministrowie i izby mogły rządzić przez ciąg bezkrólewia. Król, to jest prawdziwy przewodnik i głowa narodu, potrzebny jest jeszcze dla tego ludu; jakoż Grecy jednomyślnie i oddawna głośno wołają o ogłoszenie prawa następstwa. Niepewność przyszłości pociąga za sobą niejakie zwątpienie w massach ludu i wywołuje między stronnictwami skrajnemi ten gorączkowy niepokój, który dał początek rokoszowi żołnierskiemu w Salaminie, zamachowi Doziosa, ostatniemu przesileniu ministerjalnemu i powstaniu nauplijskiemu. Grecy nie tyle dopominają się o reformy, ile o pewność dla przyszłości królestwa i zmiana prawa wyborczego, organizacja milicji, powrót do trybu konstytucyjnego i do rządu narodowego, zajmują podrzędne miejsce w owém życzeniu; a skoro prawo następstwa raz zostanie ogłoszone, i ogłoszone według woli narodu, Grecy będą sami dość potężnymi, by otrzymać od rządu reformy, które stały się nieuchronnemi.

Jeżeli to prawda, że niezadowolenie obudzone przez to prawo jest powszechnem, nie należy wątpić, że ruch nauplijski ma odrośle w narodzie. Ale też nie jest to jak wmówić chciano rokosz żołnierski: rząd tymczasowy składa się z adwokatów i niezależnych obywateli, programmat zaś powstańców nosi na sobie pieczęć uczuć bardzo wzniosłych, usiłujących związać ruch nauplijski z wielkiemi zdarzeniami wojen o niepodległość.

Cokolwiek bądź, czekać należy na nowe wypadki; czekać potrzeba, póki nie wyjaśni się stan rzeczy; potrzeba aby kraj wyrzekł. Wówczas dopiéro będziemy mogli z kolei objawić sąd i rozstrzygnąć: czy obecne powstanie jest objawem chwilowym, albo poruszeniem żywotnem.

DEPESZE TELEGRAFICZNE.

BERLIN, czwartek 6 marca. Izba zagłosowała dziś prawo o odpowiedzialności ministrów.

Na wczorajszém posiedzeniu kommissji wojennéj, minister wojny oświadczył w imieniu całego gabinetu, że najmocniéj postanowiono w niczem nie zmieniać obowiązku trzyletniéj służby wojskowéj.

WIEDEŃ, czwartek 6 marca wieczorem. Dziennik P r a s s a donosi dziś wieczorem z Triestu pod dniem dzisiejszym, że są wiadomości z Grecji dochodzące do dnia 3 marca. Oznajmują one, że toczą się układy z powstańcami nauplijskimi o kapitulację. Król chce tylko dać amnestję żołnierzom i podoficerom.

We wszystkich innych częściach kraju panuje porządek i kommunikacje nie zostały przerwane.

LONDYN, czwartek 6 marca. Z a k ł a d R e u t e r a uwiadamia z Konstantynopola pod dniem dzisiejszym, że Porta zaręcza reformy, których programmat został przysłany do Londynu pełnomocnikom układającym się o pożyczkę dla rządu tureckiego. Zawarcie téj pożyczki ma być pewne.

LONDYN, piątek 7 marca. Z a k ł a d R e u t e r a udziela następne wiadomości z New-Yorku, z dnia 21 lutego, a otrzymane w Halifax przez telegraf:

Dzienniki oburzają się na myśl zaprowadzenia monarchji w Meksyku. Dziennik W o r l d mówi, że to jest zniewagą dla rządu związkowego. Monarchja w Meksyku nie będzie mogła, według zdania tego dziennika, utrzymać się inaczéj tylko przez bagnety cudzoziemskie. Skoro powstanie Południa zostanie stłumione, dodaje, nic nie potrafi skojarzyć tak silnie przyjaznych stosunków Północy z Południem, jak zbrojne ich przymierze dla odparcia wpływu europejskiego. W Washingtonie panuje rzetelna radość ze zmiany, jaka zaszła w mniemaniu powszechném w Anglji i na lądzie europejskim na korzyść Stanów Zjednoczonych; szczególniéj powszechność okazuje się wdzięczną za współczucie wynurzone przez rządy rossyjski i włoski w czasie polubownych układów w sprawie T r e n t u.

Od czasu zwycięztwa pod Donnelson, powszechne uczucie nie oddycha zemstą przeciw Południowi; lecz ogólnie wynurza się myśl, aby przewódców powstania ukarać wygnaniem z kraju, a na wszystkich mieszkańców rozciągnąć powszechną amnestję.

Nie potwierdza się dobycie Savannah; przygotowania do szturmu nie ustają.

Senat odłożył na czas nieograniczony wzięcie pod rozbiór przełożenia, doradzającego zagłosowanie podzięki kapitanowi Wilkes.

Oznajmują z Vera-Cruz 8 lutego, że w wojskach europejskich znajduje się wielka liczba chorych. Sprzymierzeńcy przygotowują się do wtargnienia w głąb kraju. Meksykanie stawić będą opór. Oznajmują jeszcze z New-Yorku, że pan Schurtz, dziś minister pełnomocny w Madrycie, uda się na podobnąż posadę do Petersburga, na miejsce pana Cameron, tudzież, że pan Wilmot zostanie ministrem pełnomocnym przy dworze hiszpańskim.

Wieści pochodzące ze źrzódła południowego, zapewniają, że jenerał oderwańców Johnston oświadczył gotowość wyjścia z Nashville pod warunkiem, że własność prywatna zostanie oszczędzoną. Nic nastąpiła jeszcze żadna odpowiedź na to przełożenie.

Podobnież rozbiegła się wieść, że związkowi natarli na jenerała Price, który miał ratować się ucieczką.

PARYŻ, czwartek 6 marca. Cesarz przyjął w Tuileries deputację senatu upoważnioną do złożenia adresu zagłosowanego przez to zgromadzenie w odpowiedź na mowę tronową. Najjaśniejszy pan przemówił następnie:

„Jednomyślność, z jaką senat zagłosował adres tylko co odczytany napełnia mię radością. Widzę w tém nowy dowód, że tak w izbach jak w kraju, większości stają zawsze na stronie rozsądku i wyłączają mniemania ostateczne.

„Po żwawości waszych rozpraw z przyjemnością ujrzałem, że umiarkowany głos adresu zjednoczył niemal wszystkie zdania, stwierdzając znaną maksymę Bossueta: U m i a r k o w a n i e, o p a r t e n a p r a w d z i e, j e s t n a j s i l n i e j s z ą p o d p o r ą r z e c z y l u d z k i c h.

„Przyjmijcie moje szczere dzięki; bo nic bardziéj nie sprzyja spokojnemu i prawidłowemu postępowi rządu, jak dobre porozumienie między wielkiemi władzami państwa.“

Te wyrazy cesarza pozdrowiono okrzykami.

BRUXELLA, piątek 7 marca. Dziennik N i e p o d l e g ł o ś ć b e l g i j s k a oznajmuje, że hrabia Vimercati, urzędnik przy poselstwie króla Wiktora-Emmanuela w Paryżu, odwiózł do Turynu własnoręczny bilet cesarza Napoleona III, żywo naganiający ostatnią mowę, wyrzeczoną przez barona Ricasoli, a która dała powód do zmiany ministerstwa, znajdującego się pod jego przewodnictwem.

TURYN, piątek 7 marca. P. Cordova złożył ministerstwo. Senator Poggi został mianowany ministrem sprawiedliwości. Mówią, że pan Rattazzi wezwie jenerała Durando do zajęcia wydziału spraw zagranicznych.

Dziennik O p i n i o n e twierdzi, że programat ministerjalny zostanie dziś przedstawiony; że oznajmi, iż ruchoma gwardja narodowa wchodzi na stopę czynną i że utrzyma prawa skarbowe, wniesione przez hr. Bastoggi. P. Scialoja zostaje sekretarzem jeneralnym ministerstwa skarbu.

Wielu deputowanych większości odbyli dziś naradę dla porozumienia się o dalszym trybie postępowania.

Garibaldi przybył do Turynu, gdzie miał konferencję z panem Rattazzi.

TURYN, piątek 7 marca. Wiadomości z Aten z d. 1 marca donoszą, że powstańcy przesłali memorjał pełnomocnikom Rossji, Anglji i Francji, że odrzucają amnestję i pracują z zapałem nad uzbrojeniem Nauplji.

Donoszą z Korfu, że dnia 4 marca parlament joński odbył pierwsze swoje posiedzenie. Dziekan wieku upomniał deputowanych, aby wyrazili swe żądania względem połączenia wysp z Grecją. Wszyscy niemal przychylili się do téj myśli. Powszechnie mniemają, że zgromadzenie oświadczy się jednomyślnie w tym duchu.

D z i e n n i k K o n s t a n t y n o p o l s k i zbija wiadomość, otrzymaną przez Marsylję, o zatargach między chrześcijanami i Turkami w Wan w Armenji.

LONDYN, sóbota 1 marca. Z a k ł a d R e u t e r a udziela następne wiadomości z New-Yorku z dnia 14 lutego:

Senat przyjął projekt do prawa o biletach skarbowych, z artykułem nakazującym kurs prawny, tudzież z tém zastrzeżeniem, że odsetki od wypuszczonych przez rząd obligacij będą płacone brzęczącemi pieniędzmi.

Prawo stanowi, iż wolno zamieniać te bilety na sześcioprocentowe obligacje, mające wypłacić się w ciągu lat dwudziestu.

Dochody z komor celnych i z dóbr państwa będą służyły za rękojmię opłaty procentów.

SCHWERIN, poniedziałek 3 marca. Dziś o południu umarła tu wielka księżna Augusta meklemburgsko-szweryńska, urodzona 25 listopada 1776, była ona córką Fryderyka Ludwika landgrafa hesko-homburgskiego; w roku 1818, 3 kwietnia zaślubiła Fryderyka Ludwika meklemburgsko-szweryńskiego, który umarł w roku następnym 29 listopada, była więc babką wielkiego książęcia dziś panującego Fryderyka Franciszka.

DREZNO, poniedziałek dnia 3 marca wieczorem. D z i e n n i k d r e z d e ń s k i ogłasza list z Wiednia stanowczo oznajmujący, że dnia zawczorajszego porozumienie między dwóma wielkiemi mocarstwami niemieckiemi w sprawie heskiéj jest czynem dokonanym. Austrja przyjęła ostatnie przełożenia pruskie, które zapewne będą przedstawione za wspólną zgodą na najbliższém posiedzeniu sejmu związkowego.

Przegląd Literacki.

HISTORJA.

o Pra...pra...pra...wnuku.

Powieść Teodora Tomasza Jeża.

(Literacki odcinek Gazety Warszawskiéj).

W ostatnich czasach, skutkiem zapewne przeważnych zadań społecznych, zaprzątających prawie wszystkie umysły, mniejsząśmy baczność zwracali na płody piśmiennictwa naszego; wiele też z nich przeszło prawie niepostrzeżonych, mimo rzeczywistą swą wartość. Do rzędu takich zaliczyć nam wypada powieść T. T. Jeża, autora *Handzi Zahornickiéj* i *Szandora Kowacza*, ogłoszoną w literackim odcinku Gazety Warszawskiéj, p. t. *Historja o pra...pra...pra...wnuku.* Świeżo ją przeczytałem, a wyniosłszy z niéj takie wrażenie, jakiego oddawna już przy żadnéj nie doznałem powieści, mam to sobie za obowiązek, aby słowem serdecznem zwrócić na ten utwór uwagę ukształconéj naszéj publiczności, i tych, którzy go dotąd jeszcze nie czytali, do czytania zachęcić. Kurjer w tém mi pomódz powinien, raz dla tego, że zawsze chętnym jest do rozpowszechnienia myśli poczciwéj, a powtóre, że względem autora téj *historji* wielkiego się niegdyś błędu dopuścił; w recenzji bowiem *Szandora Kowacza*, któremu szczerze zasłużoną pochwałę oddał, wyrzekł przy końcu, że inne utwory Jeża niewiele warte. Zdania tego inaczéj tłómaczyć sobie nie umiem, jak tylko przypuszczeniem, że szanowny recenzent, pisząc o *Handzi* i *Szandorze, Historji o pra...pra...pra..wnuku* wcale jeszcze nie znał; znając bowiem, potrafiłby wartość tego dzieła ocenić i wyższość by mu przyznał nad wszystkiemi innemi. Tak ja przynajmniéj sądzę, a mam to przekonanie, że i sam autor téj powieści uważa ją za najdroższą swoją dziecinę, za krew krwi i kość kości swoich: jest to bowiem jeden z takich utworów, w które piszący wciela treść ducha swego najżywotniejszą, zasady swe najświętsze i wyznanie wiary najszczersze,— jest to, że tak powiem *ostatnie* jego *słowo*, którego nigdy nie cofnie i nigdy się nie zaprze, które w dalszym ciągu swego zawodu może rozwijać i objaśniać, ale nad które silniejszego już nie wyrzecze.

Szczerze bym pragnął czytelnikom moim dać to *słowo* poznać w całem jego znaczeniu, ale w pobieżnym artykule niniejszym nie podobna mi tego uczynić. Niech więc lepiéj każdy się stara sam tę powieść przeczytać, a komu jeszcze w sercu nie wystygły święte uczucia obywatelskie, kto się nie stał zimnym kosmopolitą lub egoistą praktycznym, obojętnym na wszystko, oprócz własnéj kieszeni, lub pasibrzuchem nareszcie, dbającym tylko o smaczny obiad i spokojne trawienie; ten bardzo łatwo *słowo* to znajdzie, całą jego wagę zrozumie, i sobie je przyswoi, i na nie jedno w życiu inaczéj a jaśniéj spójrzy.

Z tego, com dotąd o téj *historji* powiedział, musieli pewno czytelnicy moi zmiarkować, że powieść T. Jeża jest tendencyjną. Tak jest istotnie, a dążność jéj poczciwa całą jéj wielką wartość stanowi.

Niedawno jeszcze niektórzy krytycy nasi, zwolennicy zasady: *sztuka dla sztuki*, tendencyjność w powieściach uważali za wadę ich największą, niemal za grzech śmiertelny; wiele też wcale nieposlednich utworów porządne za to cięgi odebrało. Mimo to wszakże byli pomiędzy nami zatwardziali grzesznicy, którzy przez żaden sposób tendencyjności się wyrzec nie chcieli i wbrew krytykom wszelkim, nieraz dążność na pierwszem a sztukę na drugiem miejscu ośmielali się stawić; ba gorzéj jeszcze! nieraz o sztuce całkiem nie myśleli, pochłonięci główną ideą, i jako prawdziwi słudzy Chrystusowi, szukali przedewszystkiem królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, ufni, że reszta będzie im przydana;—i w saméj rzeczy, nie z jednym to się sprawdziło. Nie jedna taka powieść, ostro zgromiona przez krytykę urzędową, ogółowi, nie rozumować, ale czuć dobrze umiejącemu, dziwnie przypadała do serca, budziła myśli zacne, wywoływała czyny obywatelskie... Aż wreszcie, niedawniusieńko, i krytycy niektórzy wcale inaczéj odzywać się zaczęli, i niemal, że nie stanowczo za dążnościową, społeczną, powieścią głos podali. Górą więc dobra sprawa! górą tendencja poczciwa!

Otóż wracając do powieści p. Jeża, którą dążnościową nazwałem, i którą, za dążność właśnie, wysoko tak wynoszę, gdybym chciał na nią się zapatrywać, ze stanowiska samego tylko artyzmu, bardzo nie wiele zalet w niéj mógłbym znaleźć; musiałbym jéj zarzucić najzupełniejszy brak drammatyczności, brak intrygi, albo po prostu *bajki* ciekawéj, styl zaniedbany często, często niepotrzebne gadulstwo, sadzenie się na dowcip, przesadę w niektórych figurach, zakrawających na karrykatury, i tym podobne rzeczy. Ale w obec dążności, wszystkie wyliczone tutaj usterki, nikną, jak mgła przed słońcem. Dążność ta, sama już w sobie taki urok mieści potężny, że najprostsza w świecie *historja*, skreślona bez żadnéj myśli o artyzmie, czyta się jednym tchem prawie, z najżywszem zaciekawieniem, z rozkoszą niewymówną, z pożytkiem najrzeczywistszym. W tém tylko cały sekret, że autor głównéj swojéj idei nie podaje nam w szumno-brzmiących perorach, nie wyłazi co chwila z nią na kazalnicę, nie mówi sam od siebie, nie zapełnia całych rozdziałów ckliwemi morałami; ale figurom wszystkim, wprowadzonym na scenę, każe czynami swemi tę ideę najwszechstronniéj przedstawiać i w umysł czytelnika ją wrażać.

Historja o pra...pra... pra... wnuku jest to historja życia jednego z naszych współbraci, przez dziecinne i młodzieńcze lata przeprowadzona. Bohatérem jest niby stryjeczny brat autora, Jan Jeż (ośmielamy się wszakże przypuszczać, że właściwie jest nim sam autor). Historja jego, niezmiernie prosta, a z całą prawdą skreślona, pod pewnym względem może być uważana za historją nie jednego z naszéj młodzieży; szkoda tylko, że epoki jéj najważniejsze mało do kogo zastosować się dadzą. Przy całéj wszakże swojéj prostocie, a raczéj dla téj prostoty właśnie, czyta się z niewymówném zajęciem i na długo w pamięć się wbija. Ze trzy miesiące już temu, jakem ją czytał, a dotąd tak pamiętam, jak gdybym swemi oczymi na ludzi tych i na wypadki patrzał. I jak żywy stoi przedemną ojciec pana Jeża, nieoceniony *jegomość*, figura niestety wyjątkowa. Widzę go jak prawdziwie po ojcowsku nad *gromadą* swoją, w uroczych Hrynenkach, panuje bez kańczuka, samą tylko miłością i sprawiedliwością, i w karbach obowiązku ją trzyma i do dobrego prowadzi; a bez deklamacij filantropicznych, bez wystawy komedjanckiéj, cicho, po prostu, umie wszystkie serca sobie zjednywać, umie tak umysły włościan swych usposobić, że i w ogień i w wodę wszyscy za nim skoczyć gotowi; umie wreszcie i szkółkę tak szczęśliwie urządzić, że dziatwa wiejska na wyścigi do niéj się garnie i wraz z paniczem swoim prawd jedynych i jedynych nauk się uczy. Widzę tego starca zacnego, tego obywatela w całem znaczeniu słowa, który w całéj pełni rozwinął w swojéj duszy pojęcie obowiązków najświętszych, który lekceważenie ich widząc w synu swym pierworodnym, dla karjery, bezmyślnie, z tylu innemi, rzucającym się w zawód haniebny, do najstraszliwszéj zbrodni go prowadzący, o mało życiem nie przypłacił tego nieszczęścia; ale srodze skarcił wyrodka, bo się go wyrzekł na zawsze, i na śmiertelném łożu, wszystkich żegnając, wszystkim błogosławiąc, o nim rzekł tylko: „niechaj Bóg mu przebaczy a ja nie mogę“— Widzę go, jak czynem, a nie słowem, własnym przykładem, a nie morałami suchemi, usposabia serce Jasia swojego, taki mu hart święty nadaje, że cnót tradycyjnych, gniazdowych żadne już wpływy wydrzeć z niego nie mogą, że idąc po téj drodze, która innych do ostatniego znikczemnienia prowadzi, on nigdy wysokiego celu z oczu nie traci, i wie jak dosięgnąć. (d. n.)

PRZEGLĄD PISM CZASOWYCH.

Gazeta Warszawska (do 50):

— Artykuł naczelny Gazety z d. 24 lutego zwraca uwagę na zbytnie rozmnożenie się dni targowych i jarmarcznych po miasteczkach w Królestwie, i na szkody, które z tego stanu rzeczy wypływają dla rolnictwa. Jakkolwiek w prowincji naszéj niemamy wielkiego nadmiaru dni targowych, niemniéj przeto niektóre okolice są niemi dosyć przeciążone; jest tu nawet kilka miasteczek, w których targi odbywają się aż po trzy razy na tydzień, bez żadnéj widocznéj potrzeby. Uwagi więc G. W. mogą się przydać i dla nas.

„Jedną z rzeczywistych plag gospodarstwa rolnego, większego nabierających znaczenia w obec zmiany stosunków włościańskich—bez wątpienia jest silnie wkorzeniony zwyczaj ludu naszego, uczęszczania na wszelkie choćby najdrobniejsze targi i jarmarki okolicznych miasteczek. Zwyczaj ten posuwany do ostateczności próżniackiéj, przy pańszczyznie wypadał wyłącznie na szkodę ludu, choć przykry był i dla dworów, zagrodnicy bowiem wymawiali się w dni targowe i jarmarki wszelkich w sąsiedztwie miasteczek.

Z ustaniem pańszczyzny a zachowaniem zwyczaju udawania się na jarmarki i targi, bez żadnéj usprawiedliwionéj przyczyny, ale tylko pod najbłahszemi pozorami—gospodarstwo folwarczne traci mnóstwo rąk, przez znaczną liczbę dni zajętych próżniaczemi wędrówkami do miasteczka, a któreby w przeciwnym razie można było wynająć do pracy. Następstwem większego rozwoju ekonomicznego, po uregulowaniu stosunków włościańskich, będzie niezawodnie obudzenie pracowitości a stąd szanowania czasu w ludzie naszym; stąd wolność dzisiejszą od obowiązkowych dni pańszczyzny, pomagająca marnowaniu czasu obecnemu po targach, stać się powinna najskuteczniejszém lekarstwem na tę chorobę. Nim jednakże to nastąpi, nim się doczekamy, iż włościanie sami zarzucą wędrówki po targach i jarmarkach, bez potrzeby i pożytku—dobrzeby było użyć w mocy naszéj leżących środków, aby do tego celu jak najprędzéj zdążyć i dzisiejszą chwilę przejścia stosunków i w tym kierunku dobrze obmyślaną reformą ułatwić. Środki pod tym względem zarówno leżą w rękach obywateli jak i władz miejscowych, które się w takim razie mogą spodziewać rzeczywistego poparcia. Przedewszystkiém od władz wymagać musimy rewizji dni targowych w każdéj okolicy, z uwzględnieniem pobocznych okoliczności. Rewizję taką i wygotowanie odpowiednich motywów najwłaściwiejby dopełnić mogły sessje obywatelskie, jako w tym względzie kompetentne i interesowane zarówno w zniesieniu zbytecznych targów a utrzymaniu koniecznie potrzebnych do zapewnienia handlowego ruchu miejscowości. Radykalną reformą w tym względzie byłoby przeniesienie wszystkich dni targowych okolicznych miasteczek na jeden, wspólny, najdogodniejszy w tygodniu. Tym sposobem zabezpieczając dostatecznie ruch targowy, usunęłoby się bardzo wiele niedogodności z rozrzucenia na różne dni targów okolicznych miasteczek.

Dziś bardzo często się zdarza, iż włościanin posiadający parobka lub dorosłe dzieci, od poniedziałku do soboty włóczy się po targach i zbyt częstych jarmarkach. Zebranie tych dni w jeden położyłoby temu koniec.

Dla sprzedających lub kupujących żadnaby stąd niewynikła strata ani niedogodność; włościanie, mając produkta do sprzedania uzbierane z całego tygodnia, przybywaliby na targi z większą ich ilością jak obecnie, rozrzucając się zaś jednocześnie na różne punkta, nie przynosiliby sobie szkody bezpotrzebną konkurencją. Strata z téj reformy dotknęłaby tylko szynkarzy i miejskich faktorów, których wcale żałować nie mamy powodu. Życzyćby także należało, aby zwierzchnia władza dawała większy nadzór na postępowanie burmistrzów małych miasteczek, którzy dla własnéj korzyści naznaczają częstokroć nowe termina targowe, usprawiedliwiając się tém, że poprzedni targ spełzł bez skutku. Jak najsilniéj także oświadczyć się musimy za zniesieniem targów niedzielnych, bez przenoszenia ich atoli na dni inne, jeżeli w daném miejscu drugi targ odbywa się w dzień powszedni. Targi niedzielne, potępione słusznie przez duchowieństwo, są niemoralne, przeszkadzają zgromadzaniu się ludu na nabożeństwo i są powodem wczesnego rozpoczynania pijatyki. Z wielką więc pociechą dowiadujemy się, iż lud uznając powody te za słuszne, nie chce zgromadzać się na targi niedzielne, tam nawet gdzie one jeszcze dotychczas zniesione nie zostały, lub gdzie o przywrócenie ich czynią się usiłowania.“

— Piszą z pod Kazimierza: W naszéj okolicy szkółki wiejskie coraz to więcéj zyskują rozpowszechnienia. Kandydatów na nauczycieli jest dosyć, ale gdy to są ludzie, którzy przeszli 4-ry klassy szkół, a wielu z Poznańskiego ukończyło sześć klass, ukształcenie więc ich wymaga stosownego funduszu. Obywatele dają takiemu nauczycielowi stancję, stół, opał i za sześć miesięcy zimowych poręczają za przychód złp. 600, 800 lub 1000, czyniąc staranie, aby każdy gospodarz wiejski płacił od swojego dziecka rubla na miesiąc. Ale na początek dość to trudno idzie; prawie cały ciężar poręczających spada na obywateli. Bądźmy więc cierpliwi na raz wytkniętéj szlachetnéj drodze; może na przyszłą zimę jakoś to lepiéj będzie. W jedném Celejowie szkółka ta coraz bardziéj wzrasta, ma obecnie 30 uczni i uczennic; otoczona też ona jest całą starannością dziedziców, i ma nauczyciela z Poznańskiego, młodego, ukształconego człowieka. Co piątek dojeżdżający z Kazimierza ksiądz reformat daje w niéj naukę religji.

Z drugiéj strony Wisły, w Oblasach, egzystuje szkółka ludowa od lat sześciu, dla któréj dziedzice utrzymują przełożoną szkoły, wykładającą nauki i szycie. Szkoła ta wydała też stosowne owoce, bo ludność téj wsi i okolic, co niedziela i święta, modli się na książkach, a gustowne ubranie świadczy, że umieją igłą władać.

— Piszą z Poznania pod d. 21 lutego: Przed kratkami kryminalnego senatu poznańskiego sądu apellacyjnego toczył się dziś proces przeciwko siedmiu członkom centralnéj dyrekcji Towarzystwa rolniczego W. Ks. Poznańskiego, oskarżonym, że trudniąc się niejako sprawami politycznemi, nie podali tutejszemu dyrektorjum policyjnemu imiennéj listy członków Towarzystwa, jak tego przepisy prawne wymagają. Na ławie oskarżonych osobiście zasiedli: prezes Towarzystwa p. Łączyński, członkowie: hr. Edward Poniński, professor dr. Szafarkiewicz i p. Kantak. W piérwszéj instancji uznano oskarżonych za niewinnych. Przeciwko wyrokowi temu apellowała królewska prokuratorja. Oskarżonych bronił rzecznik p. Janecki i sam oskarżony, p. Kantak. Obydwaj starali się udowodnić, naprzód, że Towarzystwo rolnicze nie zajmuje się wcale sprawami politycznemi, ale dąży tylko do podniesienia bytu rolników w W. Ks. Poznańskiém, co jest pożyteczném dla Państwa; powtóre, że w żaden sposób listy innéj dyrekcja podać nie mogła, gdyż jéj nie posiadała, a zresztą dyrekcje powiatowe podały już ją poprzednio miejscowéj policji. Pan Kantak bronił się najprzód w języku polskim (wiadomo, że niektóre sądy powiatowe w księstwie nie dopuszczają obrony w tym języku) a późniéj swą obronę powtórzył w języku niemieckim, jak się wyraził, z obawy, żeby jéj tłómacz fałszywie nie oddał. Senat kryminalny każdego oskarżonego skazał na 5 talarów grzywien, lub trzy czy też pięć dni więzienia i na poniesienie kosztów obydwóch instancij.

— Piszą z nad brzegów Niemna (z Królestwa): Jakże się to zmieniły obyczaje nasze! nie widać wrodzonéj nam lekkości ani wesołości, życie wzięliśmy na serjo i słusznie dziwimy się, że taka stała się przemiana. Zapisujemy każdy krok zbliżony do życia publicznego, i rozwodzimy się nieraz szeroko i słusznie we własnych pochwałach. Lecz aby się nie zakrztusić dymem zbytecznych kadzideł, należy zwracać często surowy, badawczy wzrok na siebie.

Dziś kładę palec na jednéj z najboleśniejszych ran naszych, na źródle demoralizacji, pijaństwie, które u włościan dotychczas panuje. Nie ma wątpliwości, że brak oświaty ludu jest w znacznéj części tego przyczyną i człowiek nie mający w sobie żadnego zasobu umysłowego, w kale zmysłowości znajduje uciechę: pije i gdy się upije, rozwesela się dusza jego, choć duszę swą zatraca. Ale dźwignięcie umysłowe jest rzeczą czasu, i długiego czasu; oświata zresztą nie usuwa pijaństwa, choć znacznie oddziaływa na nie. Przeciwko temu trzeba użyć wszelkich możebnych środków; religja, ludzkość, interes własny dobrze zrozumiany tego wymagają, cóż więc przedsięwzięliśmy? Wstrzemięźliwość na nieszczęście nie powiodła się u nas, szarpana przez ludzi złéj woli, egoistów bez sumienia, ze wszystkich, trzeba to wyznać, klass społeczeństwa naszego, takich nawet, których obowiązkiem byłoby ją popierać, słabe gdzie niegdzie tylko zapuściła korzenie. Byłe Towarzystwo Rolnicze nie wypowiedziało w tém swego zdania; tylko wyprzedaż garncową wódki okryło hańbą. Po powiatach radzono nieraz o tém śród burzy nieraz, lecz rzadko z rezultatem; słowem wyprzedaż ta, prawem nawet zabroniona, nie wszędzie dotąd została usunięta, nieraz nietylko istnieje jak dawniéj, ale owszem wzrasta jeszcze w swych rozmiarach, nie lękając się dziś zajrzeć w oczy liczniejszemu zebraniu. Gdy na prawym brzegu Niemna pijaństwo po karczmach nawet nie może znaleźć strony dla siebie, na lewym dzieje się całkiem przeciwnie, a w chatach i szałasach nadniemeńskich, taniością niejeden kusi ludzi do demoralizacji, chociaż pięknie deklamujemy o poświęceniu!!—Jeżeliśmy sami zreformowali swe obyczaje, powstrzymajmy o ile możemy, od zepsucia tych, którym nadaliśmy miano młódszych braci, usuwajmy pokusy, zamiast je nastręczać. Wytknąłem tę ranę, aby winni poczuli całą jéj sromotę i na innéj drodze godziwszych szukali zysków.

— Donoszą z Tarnowa, iż w skutek starań u władz rządowych, przedsiębranych celem dozwolenia jawności obrad miejskich, nadeszła odpowiedź przyzwalająca na jawność takich obrad. W Tarnowie cieszą się nadzieją, że wydział miejski i magistrat miasta, najbliższą swą naradę jawnie odbywać będzie i tym sposobem z radością pochwyci sposobność okazania swoim wyborcom i publiczności, z jaką gorliwością, bezinteresownością i taktem, dobrem miasta i jego mieszkańców zajmować się będzie. Gdy Tarnów uzyskał rządowe pozwolenie odbywania jawnie obrad w radzie miejskiéj, nie podlega wątpliwości, że rząd i innym miastom galicyjskim tego pozwolenia nie odmówi.

— W Galicji w wielu parafjach zakładają już sami wieśniacy z własnego popędu szkoły. W Brusowéj, jeden włościanin nazwiskiem Kawa ofiarował własne mieszkanie na szkołę i sam uczy dzieci, choć niema gdzie się podziać z własną rodziną. Tenże sam wieśniak wystawił kaplicę. Wójt zaś téj wioski posiada znaczną liczbę książek, z których niejedna i 10 zł. kosztuje.

— W przeciągu ostatnich lat dwunastu wydano w Galicji przeszło 2,000 dzieł i broszur polskich, 200 rusińskich i 100 w niemieckich lub innych językach.

— Dom Zleceń rolników nadwiślańskich, instytucja pożyteczna i godna ze wszech miar utrzymania, z winy braku współdziałania możniejszych obywateli prowincji, zostaje w *smutném stadjum stagnacji*. Smutny to przykład już nietylko niedbania o dobro ogółu, lecz nawet zupełnego niepojęcia własnego interesu!

— Ludność ogólna, w ciągu roku upłynionego wynosiła w Warszawie dusz 162,777; w téj liczbie płci mezkiéj 80,702, płci żeńskiéj 82,075; ponieważ zaś z końcem roku 1860 było ludności dusz 162,805, zmniejszyła się przeto o 28 dusz. W liczbie téj ludności było: chrześcijan 120,057, żydów 42,720; stanu szlacheckiego: 14,792, stanu duchownego 585, stanu gminnego 128,506; umiejących czytać i pisać 74,406, posiadających wyższe ukształcenie 21,638, wcale nieoświeconych 66,733.

— Dr. Wilczkowski, nauczyciel szkoły felczerów cywilnych, ułożył i zamierza wydać, z upoważnienia rady lekarskiéj Królestwa Polskiego, bardzo użyteczne dzieło dla felczerów, mające im służyć nie tylko do nauki, ale i za podręcznik w praktyce, pod tytułem: „Krótki rys anatomji. Chirurgja niższa, z nauką o nawiązkach.“

— W odcinku G. W. rozpoczęto druk pośmiertnéj pracy Ignacego Chodźki: *Nowe pamiętniki Kwestarza, przez brata Rafała Karęgę*. Do szeregu Obrazów litewskich, przybywa z tém dziełem jeszcze jedna i już ostatnia serja pięknych odwzorowań naszéj przeszłości przez śp. Chodźkę.

— W dniu 20 b. m. umarł w Warszawie Paweł Zaorski, Emeryt, były bibljotekarz bibljoteki głównéj b. okręgu naukowego warszawskiego, jeden z tych rzadkich ludzi, którzy z całém poświęceniem oddani swemu obowiązkowi, duszą i sercem są doń przywiązani. Zaorski, od czasu założenia tego znakomitego księgozbioru, zostawał przy nim przez lat czterdzieści kilka, a obdarzony nadzwyczajną pamięcią i wielką znajomością bibljografji, umiał obszerną swą erudycję z uprzejmością udzielać życzliwie i chętnie każdemu, kto chciał korzystać ze skarbów wiedzy ludzkiéj nagromadzonych w tym zbiorze. Człowiek zacny, cichy i skromny, chociaż gruntownie uczony, był niegdyś współpracownikiem redakcij Gazety literackiéj, wychodzącéj w Warszawie w latach 1821 i 1822, gdzie umieszczał bibljograficzne wiadomości, pomiędzy któremi najobszerniejszą jest rozprawa o życiu i pracach Jana Aleksandra Gorczyna, wydawcy piérwszego czasopisma polskiego. Zaorski żył lat 82.

— Pan Z... z Lubelskiego, założył w dobrach swoich Brzeźnicy Książęcéj, jednę może z najlepszych szkółek, jakie dotychczas w kraju istnieją. Wieśniacy jeżeli nie z uczucia wyrozumowanego, to przynajmniéj instynktowo pojmują wartość i potrzebę nauki, w kilka więc dni po otworzeniu szkółki w Brzeźnicy książęcéj, przeszło 40 dzieci zajmowało w niéj ławy, słuchając jasnego i zastosowanego do ich pojęcia wykładu. Po pięciu tygodniach nauki, ośmioro dzieci umiało już nieźle czytać. Urządzenie szkółki pod każdym względem jest wzorowe i w zupełności zastosowane do rozwoju pojęć kształcącéj się młodzi. Podzielona jest na 3 oddziały: w piérwszym nauczyciel uczy poznawać litery i sylabizować, w drugim czytać, w trzecim nareszcie rachunków, pisania, początkowych wiadomości z historji naturalnéj, z historji polskiéj i geografji. Przy kształceniu naukowém nie zapomniano i o tém, co podnosi ducha i uczy poznawać Boga. Znany zaszczytnie z wymowy ks. Fidelis, gwardjan OO. Kapucynów z Lubartowa, zaszczepia w młodociane serca zasady religji i moralności. Ogólny zarząd szkółki jest pod kierunkiem samego dziedzica, syn zaś jego i dwaj nauczyciele pracują z zapałem na tém pięknem polu. Niedosyć na tém, troskliwy o najważniejszą część wychowania młodzieży dziedzic, wystawił w ogrodzie kaplicę, w któréj codziennie brzmią dziękczynną pieśnią Panu Zastępów, harmonijne głosy dzieci, wykonywających msze kompozytorów naszych.

— Dzienniki rossyjskie donoszą: że półkownik artylerji, Oktawian Radoszkowski, będąc odkomenderowany na Ural, odkrył tam nowy minerał i nazwał takowy „Wagitem,“ na cześć znanego polskiego naturalisty Antoniego Wagi.

— W mieście Kołbieli, w okręgu Siennickim, za pomysłem i staraniem właściciela tych dóbr, oraz za solidarném poręczeniem wraz z nim właścicieli dóbr Gadka i Sufczyn, w dniu 26 z. m. założoną została „Parafjalna kassa oszczędności i pożyczek.“

Celem téj kassy jest utworzenie dla mieszkańców téj okolicy, bez różnicy wyznania i powołań, bezpiecznéj lokacji funduszów od potrzeb życia zaoszczędzonych, na procent 4% rocznie czyniący, aby tym środkiem zabezpieczyć lepszą przyszłość, mianowicie ludności wiejskiéj, a przez oszczędność poskromić pijaństwo, tudzież z niego wypływające szkody i demoralizację obyczajów powstrzymać.

Z wniosków oszczędności, udzielane są nawzajem pożyczki na procent 5% i 1% rocznie pobierany na fundusz administracyjny, do zwrotu ratami jedno albo dwutygodniowemi, mieszkańcom w téj parafji osiadłym, za poręczeniami jednéj lub dwóch osób z wszelkich stanów, byle odpowiedzialnych.

Służący zaś dworscy długi zaciągnięte zwracać będą ratami kwartalnemi. Zyski czyste kassowe są przeznaczone na opłacanie procentów od pożyczek biednym a uczciwym parafjanom bezpłatnie udzielać się mających. Czynności kassowe załatwiają bez wynagrodzenia, wspomnieni trzéj właściciele dóbr, szan. JKs. proboszcz miejscowy i jeden kmiotek rolny, co miesiąc z innéj wsi, obowiązki klucznika dwa razy w tygodniu sprawujący.

Kredyt ten, tak zręcznie i we właściwym czasie otworzony, poda sposobność służącym i wyrobnikom przyjścia do dobrego bytu, a włościanom na czynsz przechodzącym do zagospodarowania się i wypłacalności z okupu albo czynszów, a wszystkich tych ludzi po przyjacielsku zobowiąże do większéj pracowitości.

W ciągu dni piérwszych 21, kassa ta w 75-ciu wnioskach, poczynając od gr. 10 do rsr. 50 od osoby, otrzymała złp. 3,384 gr. 10, a nawzajem wypożyczyła w kwotach od rsr. 5 do 60 na raz dla jednéj osoby, summę złp. 3,306 gr. 20, i ma liczne żądania o podobny kredyt i pożyczkę.

Nadto, tytułem darowizny złożono w téj kassie dla oddziału pożyczek kop. 72½, a z tych kop. 50 ofiarowała podróżna Izraelitka Polka, w dowód wdzięczności dla téj instytucji, za przypuszczenie jéj współwyznawców do korzystania z dobrodziejstw oszczędności i kredytu przystępnego.

Tę nowość u nas serdecznie witamy i rokujemy dla niéj wielkie i z pożytkiem dla kraju powodzenie, dokładając z naszéj strony dla wszystkich takich kass założycieli, szczere życzenie: „w dobréj pracy szczęść wam Boże!“

Wzory do ksiąg kassowych, kopja ustawy i t. p. wskazówki, złożone są dla użytku publicznego w magazynie materjałów piśmiennych p. Antoniego Szuster, w Warszawie pod Nr. 473, obok drukarni Kurjera istniejących i bezpłatnie dla 12 parafij wydane będą, a tychże drugie tyle egzemplarzy, wprost od siebie Kołbielska kassa udzielić żądającym takowych przyrzekła. Kopja téj ustawy będzie przez korespondenta rolniczego przy gazecie Warsz. ogłoszoną.

Za pośrednictwem kass takich parafjalnych, W. Wiland, właściciel dóbr Kołbielskich, spodziewa się pomyślnie przeprowadzić naszą polską ideę filantropijną, wytworzenia emerytur dla officjalistów i służących dominjalnych wiejskich, która dotychczas w zastosowanie wejść nie mogła; a w tym celu własny swój projekt, przez pisma publiczne w miesiącu marcu r. b. ma ogłosić.

— W r. 1861 spożyto w Warszawie 1,128,600 garncy okowity, przypada zatém przecięciowo na głowę ludności (162,800 mieszkańców stałych, 6,600 niestałych) po 7 garncy. Produkcja okowity w całém Królestwie wynosi 13,154,187 garncy, co na głowę ludności wiejskiéj czyni 2¾ garnca. Stąd więc konsumcja wódki w stolicy jest blisko trzy razy tak wielka, jak na prowincji. Zresztą, już 1860 r. doszła była do téj wysokości, więc w ubiegłym nie przybrała. Cieszyćby się można z takiego wypadku, gdyby to dowodziło statecznego utrzymywania się dobrobytu w mieście, ale na nieszczęście, zniżyła się konsumcja innych i potrzebniejszych przedmiotów, co jedynie przypisać należy cofnięciu się i upadkowi materjalnéj zamożności mieszkańców. Stagnacja i zbezwładnięcie handlu i przemysłu musiało naturalnie zmniejszyć źródła dochodu wielu rzemieślników i zarobkujących, a że ci zazwyczaj mało oszczędzają, wszystkie usiłowania zwrócić musieli na to tylko, byle utrzymać się jako tako mogli. Niejeden podupadły rzemieślnik musiał zastawić lub sprzedać nawet warsztat i narzędzia, a czeladź swoje najpotrzebniejsze sprzęty domowe, byle zaradzić ciężkiéj potrzebie i od głodu się uchronić. Konsumcja mięsa nie wiele się tu zmniejszyła, w 1861 r. 37,353 wołów, 1879 krów, 59,593 cieląt, 42,035 skopów i 44,470 wieprzy zabito w rzeźniach miejskich, które wydały razem 59,134,000 funtów mięsa. Przypadło więc na głowę ludności warszawskiéj 36,3 funtów mięsa, gdy w 1860 konsumowano 38¼ funta. Bardziéj jeszcze zmniejszyła się konsumcja piwa. Warszawa wypiła w ubiegłym 1861 roku: 20,197 garncy porteru krajowego, 870,526 garncy piwa bawarskiego i 2,047,079 garncy piwa zwyczajnego; na głowę ludności przypadnie tedy 15 garncy, gdy w poprzednim 1860 r. przypadało na głowę 21¾ garnca. Dolewanie wody do piwa przez szynkarzy nie mogło być powodem tego zmniejszenia, gdyż na to i dawniéj podobnież narzekano. Cyfry te przekonywają najdowodniéj, że stosunki materjalne tutejszych mieskańców nie zrobiły w roku zeszłym żadnego postępu, ale się nawet cofnęły, co w znacznéj części zaszłym wypadkom przypisać należy.

— Donoszą z pod Gąsawy (w W. Ks. Poznańskiém) pod dniem 9 lutego: Wiadomo z historji, że w okolicy naszéj na polu Górnego Marcinkowa jest miejsce pamiętne śmiercią Leszka Białego. Historycy wspominają, że miejsce to znacznéj wielkości kamień znamionuje. Kamień ten jest dotąd, lecz obok niego był i odwieczny cienisty białodrzew, który w tradycji ludu istotném był znamieniem z czcią wspominanego miejsca. Pożerczy ząb czasu i orkan północny, powaliły przed laty niewielu potężny białodrzew; runął on, lecz swym poświstem nie zanócił pieśni zapomnienia. Kółko towarzyskie w Gąsawie, przejęte mocno miłością i czcią dla wszystkich historycznych pamiątek ojczystych, postanowiło na walném zebraniu w d. 26 b. m. odbytém, miejsce to wspaniałem i jak najtrwalszém ogrodzeniem, z własnych składkowych funduszów, otoczyć, krzewami i kwieciem upiększyć i wybrało w tym celu komitet z trzech członków swéj dyrekcji składający się, który wykonaniem tego postanowienia ma się zająć. Szanowny dziedzic Marcinkowa Górnego, p. Karski, odstąpił właściwe miejsce, z pięciu kwadratowych prętów składające się i drogę do niego prowadzącą na własność narodową i postanowił jako wiecznych opiekunów i stróżów tego miejsca, trzech każdoczesnych rządców najbliższych kościołów katolickich, a oprócz tego postanowił intabulować odstąpienie tego kawałka ziemi w księdze hypotecznéj dóbr Marcinkowa Górnego.

Wspomniane powyżéj kółko towarzyskie w Gąsawie składa się z okolicznych księży, właścicieli ziemskich i kilku włościan, razem około 40 osób, mieści się w lokalu dogodnym, trzyma niemal wszystkie gazety i pisma czasowe polskie, illustrowane i nie illustrowane, pisemka dla ludu i t. p. pilnie je czyta, tak wspólnie w kółku jak i pojedyńczo w domu, (dozwolone jest bowiem zabieranie pism do domu), wspólnie się cieszy i wspólnie smuci, stosownie do tego, jak nas Bóg wypadkami zasmuca lub pociesza.

Gazeta Polska (do 50):

— Przedstawiony przez komissję rządową sprawiedliwości projekt do postanowienia o sądach gminnych miejskich, wniesionym został przez radę administracyjną do rady stanu Królestwa.

— Różnorodnie dotąd rozstrzygane pytanie, dotyczące rozciągłości prawa propinacyjnego, mianowicie zaś: czy prawo to nadaje właścicielom ziemskim jedynie tytuł do ciągnienia korzyści z wyrobu, przedaży i szynkowania trunków krajowych, czy też upoważnia ich nadto do tak zwanego przymusu trunkowego, to jest do zmuszania mieszkańców dóbr, aby trunki na własną potrzebę wyłącznie tylko w dominjalnych szynkach nabywali,—poddaném zostało przez radę administracyjną, pod rozbiór rady stanu Królestwa.

— Komitet Lwowskiego Towarzystwa rolniczego według decyzji na ostatniem swém posiedzeniu przyjętéj, mianował delegację z 5 członków złożoną, do wypracowania projektu obejmującego: plan nauk dla seminarjum nauczycieli ludowych; plan nauk dla szkółek ludowych w miastach i wsiach z oznaczeniem wysokości uposażenia nauczycieli— i plan władzy mającéj kontrolować te zakłady. Komisarz rządowy wstrzymał wykonanie tego postanowienia—a prezydjum namiestnictwa akceptowało postępek p. komisarza wychodząc z zasady, że Towarzystwa rolnicze nie mają prawa do zakładania szkółek ludowych. Komitet apelował od decyzji namiestnictwa.

— Piszą z Włodzimierza: Od nauczycielki szkoły wiejskiéj we wsi Dobre pod Mińskiem stanisławowskim, która od wielu lat własnemi siłami prawie bezpłatnie poświęca się wykształceniu wiejskiego ludu—odebrałem list, w którym pisze: „Powstają u nas bardzo szkółki wiejskie, ja co oddawna jedynie tylko żądałam mieszkania stosownego, drzewa na opał i ogrodu, teraz przecie takowe uzyskałam, ale pensji żadnéj. Po części jest w tém moja wola, bo niechciałam zależeć od kaprysu i zarządu płacących a najbardziéj, że chcę oddawna aby dom mój był nietylko szkołą, ale przytułkiem i ochroną sierot. Chodzi dzieci wiejskich do 30, pracę mam wielką i bez sługi jestem; dla zachęcenia wieśniaków żądam od nich tylko 3 złote na cały rok. Wzięliśmy się bardzo do oświecenia naszego ludu, książek tylko brak a zaprowadzę u siebie czytanie niedzielne żeby i starych oświecać, niech się tylko trochę wzmogę.“

Te najlepsze chęci i tyloletnie dowody poświęcenia się dla dobra ludu dobrze mi znane, zasługują na poparcie ogółu.

— W dniu 27 lutego r. b. zmarł od kilku lat zamieszkały w Krakowie hr. Jerzy Tyszkiewicz, od roku 1833 do 1836 więzień stanu.

— Wyszedł czwarty zeszyt „Księgi Świata“ (nakład Merzbacha, redakcja H. Skimborowicza). Publikacja ta od dość dawna ciągnie się arcy powoli.

— Hetmanów koronnych i litewskich, wydawanych przez księgarnię polską A. Dzwonkowskiego, z rysunkami zebranemi przez W. Gerson'a, z tekstem J. Bartoszewicza, wyszedł zeszyt szósty i zawiera trzy piękne portrety: Jana Tarnowskiego, Jana Sapiehy, Stanisława Rewery Potockiego.

— Nadmieniliśmy już w krótkości o zawiązanéj spółce cywilnéj budowy domów dla rzemieślników i robotników warszawskich; dziś z aktu urzędowego przed rejentem Bryndzą zdziałanego, który obejmuje 14 artykułów, podajemy niektóre całe artykuły lub ustępy z tychże, ogół więcéj interessować mogące. Spółka ta powstała z uwagi na zły stan pomieszkań ludności wyrobniczéj i rzemieślniczéj w Warszawie w przekonaniu o korzyściach, jakie dogodne i ile być może ceną swoją przystępne pomieszkania, zapewnić mogą dla ludności powyższéj. Artykuł 1. Przedmiotem działań wspólki, ma być nabywanie placów i nieruchomości w Warszawie i znoszenie tudzież przerabianie istniejących na tychże placach budowli, w celu ulepszenia, udogodnienia i uczynienia tańszemi mieszkań dla rzeczonéj ludności, przy zapewnieniu spólnikom umiarkowanego procentu od funduszów na przedmiot powyższy wyłożonych; nakoniec przedmiotem działań spółki może być sprzedaż wystawionych budynków i stawianie nowych za otrzymane ze sprzedaży pieniądze, aby ciągłym obrótem funduszu spółkowego tém skuteczniéj przyczynić się do urzeczywistnienia celu, artykułem niniejszym zakreślonego. Art. 2. Spólnicy ustanawiają za prawidło, iż mieszkania w domach własnością spółki będących, wynajmowane będą saméj tylko ludności wyrobniczéj, rzemieślniczéj i służebnéj, za takie ceny, aby czysty dochód od kapitału na kupno i pobudowanie domów wyłożonego, po pokryciu kosztów administracji, reparacji, opłacie podatków i ciężarów gruntowych, nie przenosił 8 od sta procentu, od funduszu przez wspólkę włożonego. Dochód ten rozdzielonym być winien: a) 6 od sta, dla wspólników na procent od funduszów w przedsięwzięcie włożonych b) 2-a od sta do dyspozycji ogólnego zebrania spólników na przedmioty z celem i myślą zawiązania spółki związek mające. Art. 4. Spółka trwać ma lat 15 od d. 7 lutego 1862 r. licząc. Po upływie tego czasu przedłużoną jeszcze zostanie na drugie lat 15-cie, na proste oświadczenie dwóch trzecich części spólników, decyzji ich bowiem trzecia część spólników poddać się będzie obowiązaną. Jednakowoż ogólne zebranie spólników mocném będzie każdorocznie postanowić rozwiązanie spółki, od terminu jaki zakreśli, a to większością przynajmniéj trzech czwartych części głosów wszystkich spólników. Artykuł 4. Kapitał zakładowy spółki ustanawia się w summie rsr. 90,000, każdy ze spólników obowiązuje się złożyć po rsr. 3,000 do kassy bankiera Kronenberga w terminach oznaczonych. Skoro wszystkie zamierzone udziały rozebrane będą, stanie się właścicielem jednéj trzydziestéj części całego mienia spółkowego. Ponieważ dotychczasowie spólnicy zobowiązali się wnieść rsr. 60,000, a ztąd do uzupełnienia kapitału zakładowego rsr. 90,000, brakuje jeszcze rsr. 30,000, przeto do spółki niniejszéj przypuszczonemi będzie 10 osób. Do akceptowania deklaracji w tym przedmiocie upoważnionym został przez akt Jan Tadeusz książę Lubomirski. Art. 5. Spółka reprezentowaną będzie na zewnątrz przez radę zarządzającą z trzech spólników złożoną, którzy z pomiędzy siebie wybierają przewodniczącego. Na czas do 1 lipca 1863 r. radę składać będą: książe Tadeusz Lubomirski, Aleksander Kurtz i Ludwik Górski, zastępcami tychże będą: Władysław Laski, Juljusz Werthejm i Ludwik Natanson. Panowie ci wybrali na przewodniczącego ks. Lubomirskiego. Artykuł 8. Ogólne zebrania spólników będą zwyczajne i nadzwyczajne—zwyczajne odbywać się będą w Warszawie u przewodniczącego w d. 1 marca raz na rok. Artykuł 9. Każdy spólnik ma prawo: do pobierania corocznéj dywidendy, aż do wysokości 6 od sta od summy własnéj, do stosunkowego udziału korzyści otrzymanych na amortyzacją długów zaciąganych lub otrzymanych na pożyczkach zaciąganych na procent niższy od 6 od sta rocz-

nie i wreszcie do korzyści przez podniesienie się wartości placów i domów i przedaże tych nieruchomości za cenę wyższą od ceny kosztu i t. d.

— Piszą z Pleszewskiego d. 15 lutego: Rzadki i niepospolity widok przedstawiała w dniu dzisiejszym sala publicznego posiedzenia w sądzie pleszewskim. Na ławie bowiem oskarżonych zasiadło trzech katolickich polskich kapłanów i trzech sędziów Polaków, t. j. księża: Bielawski, Janicki i Rymarkiewicz i pp. Zabłocki, Oświecimski i Preibisz, zastępowany przez radzcę sprawiedliwości p. Rüdenburga. Jak wielkiego interesu i jakiéj ważności była sprawa dowodzi to, że sala i główny do niéj prowadzący korytarz nie napełniony, lecz nabity był publicznością wszelkiego stanu i wyznania, wszelkiéj narodowości i wszelkiéj nawet płci. Treścią oskarżenia było: Dnia 19 października r. b. przechodziła przez Pleszew kompanja pielgrzymów udających się z okolic Ostrowa do Lądu w Królestwie Polskiém na odpust śtéj Urszuli—do któréj to kompanji oskarżeni się przyłączyli. Pomimo wszelkie obrony, pomimo że cała publiczność przekonaną była, że wszyscy oskarżeni uwolnieni zostaną, kollegjum po całogodzinnéj konferencji skazało ks. Bielawskiego na 10 tal. grzywien, innych zaś oskarżonych każdego na 1 talara. Zadziwienie całéj publiczności po ogłoszeniu wyroku było nie do opisania. Skazani będą apelować. Po przeczytaniu tego wyroku, prokurator królewski wniósł drugą skargę przeciw ks. Rymarkiewiczowi z Kotlina o obrazę władzy, t. j. że ks. Rymarkiewicz nie chcąc odbierać od władz sądowych i administracyjnych listów niemieckich i będąc już za to po dwakroć karany grzywnami, napisał do landratury list, w którym postępowanie władz nazwał „bezprzykładném prześladowaniem języka polskiego.“ Na dowód, że ks. Rymarkiewicz umie po niemiecku, przytoczył prokurator królewski, że ks. Rymarkiewicz jest specjalnym dyrektorem niemieckiego towarzystwa zabezpieczenia od ognia, jako też przedstawił sądowi kilka listów niemieckich ks. Rymarkiewicza. Na wezwanie dyrektora sądu, ks. Rymarkiewicz nie chciał po niemiecku odpowiadać, prosząc o tłómacza. Prośby jednak jego nieuwzględniono, a nawet przybyłemu umyślnie w tym celu ze Środy obrońcy nie pozwolono bronić swego klienta, twierdząc, że ponieważ ks. Rymarkiewicz na niemieckie pytania nie chce odpowiadać, sąd pojmuje, że jest nieobecny i obrońcy jego głosu także udzielić nie może. Po takiém orzeczeniu wszyscy hurmem opuścili salę posiedzeń.

— Jeden z warszawskich inżynjerów hydraulików otwiera w tém mieście, zakład budowy wszelkiego rodzaju studni, pomp i wytrysków oraz robot hydraulicznych. Fabryka ta posiadać będzie swoję kuźnię, stolarnię i inne warstaty, a obok składu drzewa do robót podobnych potrzebnego, w stosowne modele zaopatrzoną zostanie. Zakład taki piérwszy raz w kraju naszym otworzyć się mający, zajmować się będzie: regulacją stawów i rzek, kopaniem torfu, drenowaniem pól, nawodnieniem łąk i t. d. Mieścić się ma w umyślnie na to zakupionéj budowli z koniecznemi do tejże placami.

— „Dziennika Politechnicznego“ wydawanego przez inżynjerów Bronisława i Witolda Marczewskich, wyszedł poszyt szósty, który zawiera wiadomości o Pługu Wincentego Wrześniowskiego, o Płókaniu mechaniczném, i Moście żelaznym na rzece Brda pod Czerskiem i Tablice porównacze miar gruntowych polskich dawnych z nowemi. Dołączone są do tego zeszytu rysunki przedstawiające Płóczkę galmanu, Most na rzece Brda, oraz figury do pługa i mostu.

— Dnia 10 b. m. odbyło się w Poznaniu posiedzenie wydziału hist. Tow. Przyj. Nauk, na którém pan E. Kierski odczytał swój opis obwodu borkowskiego, jako piérwszą część obrazu statystycznego W. Ks. Poznańskiego. Jest to opis jak najzupełniejszy pod każdym względem oznajamiający z powierzchnią okolicy, rodzajem jéj ziemi, jeziorami, mieszkańcami, ich ubiorem, sposobem życia, zwyczajami, ilością miast, wsi, domów, inwentarzy, kościołów, ich historji i t. d. Prócz tego wybrał wydział komissję mającą zbadać, czy i jak będzie można urządzić w przyszłym roku wystawę starożytności polskich i słowiańskich w Poznaniu.

W pałacu Działyńskich wykłada ks. Koźmian co środę dalszy ciąg historji Jagiellonów, a przedostatniéj soboty czytał p. sędzia Jarochowski o piérwszéj wojnie szwedzkiéj; przed nim zaś, na tydzień wpierw profesor Węclewski o stanowisku kobiét u Rzymian.

— Z Krakowa donoszą, że tamtejsze Towarzystwo naukowe otrzymało w tych dniach cenne rękopisy z czasów Stanisława-Augusta, pochodzące z daru śp M. Konarskiego. Zbiory Towarzystwa pomnażają ciągle nadchodzące dary, a w ich liczbie piérwsze zajmuje miejsce księgozbiór Dąbskich. Zwiększył on o 7,000 tomów bibljotekę Towarzystwa; książki te jako fideikomis do zbiorów włączone być mają. Wydziały: przyrodniczy i nauk społecznych, zamierzają wydawać pisma tygodniowe, poświęcone ogłaszaniu prac Towarzystwa w tych kierunkach.

— Smutną odbieramy wiadomość ze Lwowa: Nieliczny zastęp dzienników zmniejszył się tam jeszcze. Przestała wychodzić „Czytelnia dla młodzieży“ z powodu uwięzienia jéj redaktora Karola Cieszewskiego.

— P. Jan Warmiński (pseudonym), znany z opisów okolic Warszawy, ma zamiar wydać krótki opis Warszawy z jéj okolicami. Wydanie to ozdobione być ma drzeworytami.

— „Rolnika Polskiego“ wydawanego przez Zygmunta Gawareckiego i Albina Cohna, wyszedł zeszyt szósty, w którym ciągnie się daléj rzecz o roślinach i zbożach, uprawianych w kraju naszym.

KORESPONDENCJA
KURJERA WILEŃSKIEGO.

Z Krakowa *w lutym.*

Rzecz dziwna, a jednak u nas dość zwyczajna, że żadne przedsiębierstwo literackie, mianowicie też prawdziwą przysługę krajowi przynoszące, wytrwać do końca w obranem zadaniu nie może, ale na tysiączne natrafiając trudności i przeszkody, rozbija się w połowie drogi do celu, kierownikowi swemu boleśne w nagrodę trudów zostawiając doświadczenie. Myślę tu o chwalebném przedsiębierstwie K. J. Turowskiego, o redakcji Bibljoteki Polskiéj. Owóż po kilku latach zaszczytnéj i mozolnéj pracy, nie dokonawszy ani połowy zrozumianej należycie dążności, znajduje się p. Turowski obecnie na takiém, jak słyszymy, stanowisku, że na jakiś czas jeszcze czterykroć razy mniéj wydając niż dotąd, wkrótce wydawnictwa swego zaprzestać będzie musiał zupełnie. I oto nowy dowód niewdzięczności swoich, dla tak bezinteresownéj a zbawiennéj pracy. Doprawdy, przykry stąd nasuwa się wniosek i przykład wstrętu do wszelakiéj, dobro ogółu na celu mającéj roboty,—kiedy nietylko tenże nie podaje do działania ręki, ale owszem niewdzięcznością za chęci odpłaca się. Przejrzawszy katalogi Bibljoteki Polskiéj, obejmujące dotąd wydane przez nią dzieła, każdy dopatrzyć się w nich musi, jak rozsądnie i umiejętnie zapełniano szafy prenumeratorów najdoborowszemi dziełami tak złotego, jako też i późniejszych wieków naszego piśmiennictwa. Drogocennych do badań dziejowych źródeł wydanie, ani pomnikowe utwory i zabytki klejnotu ojczystéj mowy, ani starannemi rycinami ozdobiony Paprocki, ani specjalne uczonych naszych Święckich i Czackich prace, nie zdołały jeszcze naszéj publiczności do tego swojskich rzeczy zamiłowania zachęcić, któreby jéj do pilnego i serdecznego w przeszłości rozpatrzenia się nastręczyły sposób, a przedsiębierstwu podały pochop do dokładniejszego rozwinięcia powziętego zamiaru. Niekorzystny z tego spostrzeżenia o naszéj publiczności wniosek, wstrzymuje nas od rzucenia nań doraźnego anatematu, ale też nie może na prawdziwie pobłażliwe zasłużyć przebaczenie. Lecz nie bylibyśmy w sądach naszych tak surowymi, gdybyśmy 1-ód nie wiedzieli, że podobna jak Bibljoteki Polskiéj redakcja w całéj świetności mogłaby się w naszym kraju rozwinąć i po 2-re, gdyby nas nie bolała ta, z porównania nas z obcemi wynikająca prawda, że lepiéj krajowe oceniają przysługi, gdzieindziéj, niż u nas. A lepiéj to jeszcze, gdy sami reflektujemy się wzajemnie, niżbyśmy mieli czekać, ażby nas obcych szyderstwo wyrzutem lekkomyślności naszéj dotknęło. Dałby Bóg, aby refleksja nasza przydała się jeszcze na co, i aby gorącém spółczuciem tknięta nasza publiczność, upadającemu redaktorowi Bibl. Polskiéj bratnią do wydźwignięcia się podała rękę. Mimo to atoli, redakcja wspomniona, choć blizki już swój przewiduje upadek, nie przestaje o doborze dzieł przemyśliwać. Słyszymy, iż w wydziale pamiętnikowym na ten rok miało być ogłoszonych pamiętników kilka, a mianowicie wojskowych. Byłoby to także zaszczytném dziełem Bibljoteki. Z pomiędzy najpierwéj mających być ogłoszonemi, wymieniono nam piękne wspomnienia o pułku lekko-konnym napoleońskim I. J. Załuskiego, niegdyś w dodatku do Czasu umieszczane. W wydziale poezji i belletrystyki w pierwszym kwartale tego roku mają się ukazać wszystkie pisma Franciszka Karpińskiego, wraz z jego własnemi pamiętnikami. Szkoda by przeto było, i to bardzo wielka szkoda, gdyby brak funduszów zmusił szanownego wydawcę Bibljoteki Polskiéj do przerwania tak zacnego wydawnictwa. Czynne Towarzystwo Naukowe Krakowskie, mogłoby, jak sądzę, wiele w tym względzie p. K. J. Turowskiemu dopomódz, zachęcając przynajmniéj członków swoich do wzięcia udziału w utrzymaniu i nadal Bibljoteki. Towarzystwo to, znacznie zapisem ś. p. Konarskiego z Odessy podparte, dźwiga dom swój coraz pewniéj i śmieléj, i jest nadzieja, że wkrótce go ukończy. W niedokończonym wszakże gmachu odbywają się już posiedzenia naukowe, z których publiczne właśnie na dzień 22 b. m. przypada. To ostatnie posiedzenie publiczne odbędzie się atoli jeszcze w gmachu kollegium prawnego. Na niem 1) Prezes towarzystwa Józef Majer zda sprawę z czynności Towarzystwa w ubiegłym roku dokonanych. 2) Sekretarz towarzystwa ks. W. Serwatowski ogłosi zadania do nagrody, pochodzącéj z daru p. Wincentego Siemieńskiego. 3) Członek towarzystwa Adam Gorczyński odczyta wiadomość o J. N. Głowackim, malarzu krajowidoków wraz z poglądem na pejzaż obecnego czasu. 4) Członek towarzystwa Józef Łepkowski odczyta rzecz o poszanowaniu zabytków przeszłości ojczystéj. Towarzystwo to powiększające coraz bardziéj zakres swego zadania, przyjąć ma podobno niezadługo do grona swego zaszczytnie z prac literackich znanego pisarza Józefa Szujskiego; nie przestaniemy mu jednakże i teraz jeszcze wyrzucać, iż mimo wielkiéj naukowo-specjalnéj zasługi, jaką w kraju naszym zyskuje, mało jeszcze rozesłało ciepłych promieni ożywczego współdziałania z narodem, mianowicie też pod względem kształcenia ludu naszego. Dość o rzeczach starych. Przystąpmy do nowych.

Z nówszych objawów naukowych i literackich zasługują tu szczególniéj na wzmiankę: Wykłady popularnéj fizyki zasłużonego professora Stefana Kuczyńskiego, oraz zapowiedziana publikacja Tygodnika lekarskiego pod zwierzchnictwem rektora uniwersytetu Józefa Dietla, we współpracownictwie pp. dd-rów Skobla, Majera, Zieleniewskiego i Bryka.

Professor Kuczyński, mający prawdziwą przyjemność w nauczaniu licznego grona naszych krakowianek, zbierających się *diligentissime* na prelekcje, używa do swego wykładu właściwéj sobie przystępności, jasności i okrasy. Wykłady jego popularnéj fizyki, brak podobnego rodzaju książki zupełnie zastępują, a rzecby można, że z tego względu przewyższają nawet, iż ważniejsze wypadki doświadczalnie przechodzą. Przeszedłszy pierwsze zasadnicze wyobrażenia w dziedzinie nauk fizycznych, przystąpił do ogólnych własności ciał. Przy rozprzężliwości tłumaczył urządzenie i użycie termometrów, a następnie nauczał o sile przyciągania, elektryczności, magnetyzmie, sile molekularnéj i o cieple i świetle. Z zakroju, jaki sobie szanowny professor wyznaczył, wiele bardzo tuszyć o tych prelekcjach wypada, a gorący udział pań naszych, z jakim na te wykłady do uniwersytetu jagiellońskiego uczęszczają, chlubne daje świadectwo ich zamiłowania nauki. Cena miesięczna tych wykładów wynosi złp. 20 (5 fl. w. a.) Drugą nowością jest wiele rokująca zapowiedź pisma perjodycznego sztuce lekarskiéj poświęconego. Z programmatu tego pisma, zamieszczonego w feljetonie Czasu, widać jawnie, że redaktorowie rozumieją dobrze stanowisko, jakie pismo lekarskie polskie zająć winno, a że zadaniu podjętemu odpowiedzieć zdołają, świadczą o tém ich znane w piśmiennictwie imiona. Dobrze bardzo robią ci szanowni mężowie, że w tym względzie w Warszawie wychodzący tygodnik uzupełnią.

Z dawniéj zapowiedzianych publikacij niektóre, jakem to w ostatnim pisał liście, weszły już w życie jak: Wieniec, ale niektóre dotąd jeszcze nie ukazały się wcale, jak: Ruch literatury polskiéj. Wieniec w 3-cim numerze wygląda bardzo słabo. Sumienny przegląd jego treści jest następny: List z Warszawy przez Lucynę M....ą, dość poczciwie zakreślony, stanowi niby artykuł wstępny. Dalszy ciąg wcale niezajmującéj powieści „Noemi izraelitka“ ma w sobie wiele zboczeń, na rozciągłość utworu niedobrze wpływających. Umieszczenie powieści jest wprawdzie zgodnem z programmatem pisma, czemuż jednakże nie ukazują się owe krótkie a zajmujące powiastki? Noemi jest długa i niezajmująca. Dwa wiersze w tym numerze zawarte świadczą o wielkiém ubóstwie poezji. Pierwszy z nich będący przekładem psalmu 136 (super flumina Babylonis), psalmu prześlicznie przez Teofila Lenartowicza przełożonego, jest bardzo lichą robotą rymarską; pozwalamy tu sobie dwie pierwsze jego zwrótki, na okaz, przytoczyć:

U wód babilońskich brzegu
Siedzieliśmy i *płakali*,
Gdyśmy Syon *spominali*,
Po wierzbach wśród rzeki biegu
Tameśmy lutnie *wieszali*.
Tam się bowiem nas *pytali*
Ci, co nas w *jeństwo przygnali*,
O pieśń naszego zakonu;
Ci co nas wiedli, *wołali*,
Hymny śpiewajcie nam wasze,
Z hymnów naszego Syonu, i t. d. i t. d.

Przekładu tego dokonał Józef z Ojcowa. Drugi wierszyk jest o wiele udatniejszy. Jest to (*odszukany*) wierszyk Pauliny Wilkońskiéj do Edmunda Wasilewskiego. Artykuł następny z nadpisem: „Polska w obrazach“, jest niedołężnym wypisem z dość licznych monografij Krakowa, niczem nie usprawiedliwiony z jestestwa swego w tym stanie, w jakim go redakcja „Wieńca“ podaje. „List Polaka-dyssydenta, pobierającego nauki za granicą do ojca swojego, z siedemnastego wieku, ani treścią ani językiem nie zasługuje na uwagę, a tém mniej na publikację. Wspomnienie o Jacku Kluczewskim, zasłużonym założycielu teatru w Krakowie zawiera w sobie bardzo skąpe szczegóły, przepisane z Czasu, a „Szkice z życia“ przez Ludwika z Myślenic (Leśniowską) opowiada o miłości bliźniego i miłości dziecięcia, i to przykładami w rodzaju obrazków powieściowych. „Różne rzeczy“ zawierają wiadomość o wykładzie popularnym Kuczyńskiego, o koncercie amatorskim, o którym nawet ugrzeczniony „Czas“ nic nie wspomniał, aby nie zganić tego, co nic nie było warto, i sumaryczny przegląd sztuk, w ubiegłych dwóch tygodniach odegranych. Reszta artykułów są niby humorystyką Wieńca, oraz praktyczną jego stroną, t. j. opisem wzorków robót kobiecych.

Z podanéj tu treści każdy łatwo poznać może, że Wieniec, mimo rozmaitości swych artykułów, nie wyrobił się jeszcze, ani stałéj drogi swego zadania nie obrał. Nie uprzedzając, czekamy dalszych numerów.

Z nowości teatralnych i bibljograficznych nie mamy prawie żadnych. Na scenie przedstawiano same dawne znane i nie wiele warte sztuki, jak: Żołkiewski pod Cecorą (Humnickiego), Matkę rodu Dobratyńskich (Grilparcera) Eudoxją Czartoryską (A Ładnowskiego), Rodzinę żydowską i t. p.; ale reprezentacje bynajmniéj nie zaspokoiły ani nie zadowolniły publiczności, natomiast jednak cieszymy się zapowiedzianym na d. 24 koncertem amatorskim na korzyść biednych uczniów uniwersytetu naszego. Program zapowiada wiele klasycznych i pięknych utworów. Bilety rozebrano wszystkie, choć cena ich znacznie podwyższoną została.

Zjazd obywateli na posiedzenia towarzystwa agronomicznego, który ma nastąpić 24 b. m. doda ruchu i życia naszemu miastu, a wtedy też i scena staranności swéj szczędzić pewno nie będzie. Słyszałem, że mają grać: Mazepę, Marję Sztuart i Balladynę (Juljusza Słowackiego). Ostatni utwór, choć jest niby dramatycznym, wielką wzbudza ciekawość w ukazaniu się swém na scenie, tak dla piękności i wzniosłości poetycznéj z jaką jest napisany, jako też dla rozrzuconego układu scenicznego i fantastyczności osób w nim występujących.

Komedja z francuzkiego p. n. *Ręce Czarodziejskie*, niedawno po raz pierwszy przedstawiona, zrobiła tu wielkie wrażenie, i podobała się bardzo. P. Benda grał w niéj jąkałę, przewybornie.

Z Mińska.

Oddawna postrzegałem, że klassa służebna między włościanami, klassa tak zwana parobków, najmniéj i najgorzéj zapewnioną była co do sposobu utrzymania i środków życia. Przyjętym pospolicie u włościan naszych zwyczajem, parobek nigdy niebył opłacony pewną stale umówioną kwotą a często nawet żadną.— Najczęściéj zdarzało się, że to był jakiś daleki krewniak, zięć gospodarza chaty (prymak) ale takiego, który miał synów zwłaszcza nieletnich,—brał więc do chaty pomocnika, któremu z przyczyny pokrewieństwa nie czuł się obowiązanym płacić; a jednak skoro synowie urośli i bez pomocy szwagra mogli dać sobie radę,— wówczas bez względu na dawność służby, na stérane zdrowie i lata, na zasługi przezeń poniesione dla dobra rodziny, był usuwany bez żadnego wynagrodzenia czy też jakiéjkolwiek słusznéj likwidacji a nawet z pretensją o długoletnie korzystanie. W ten sposób człowiek nieraz obarczony już rodziną, wiekiem, albo niezdrowiem szuka przytułku, którego zbliżony ku starości często nawet nie znajduje i udaje się na żebraninę.

Gromady żebraków wiejskich i miejskich spotykanych na włóczędze od wsi do wsi oraz pod kościołami, do tego z drobnemi dziećmi, przekonałem się, że najczęściéj są właśnie ofiarami niepłatnego parobkowania bez jutra i podstawy. Mnie się zdaje (a zdanie to przedstawiam świattemu sądowi moich spółkollegów p.p. Pośredników pojednawczych) że najradykalniejszemi sposobami zabezpieczenia nie tylko téj klassy ludności ale nawet węgielnym kamieniem pomyślności całego ludu rolniczego, byłoby wprowadzenie legalnych umów świadczonych przez gminę i pośrednika przy ugodzeniu sług. A to w następny sposób, przyjąwszy za zasadę, że nikt nie może utrzymywać parobków i służby obojéj płci bez poświadczenia pośrednika lub władzy gminowéj, stosownie do przyległości miejsca:

1) Sporządzić pewną ilość książeczek dzielących się, każda z nich na trzy części a mianowicie: a) Część pierwszą obejmującą warunki umowy i poświadczenie tejże przez gminę lub pośrednika, stosownie do tego służy li parobek u włościanina czy też u obywatela. b) Część drugą przeznaczoną na wpisywanie świadectw służby przez właścicieli ziemskich, lub gospodarzów domu również z poświadczeniem właściwéj władzy. c.) Trzecią i ostatnią do wpisywania opłat uiszczonych za służbę.

2) Każdemu zgłaszającemu się do urzędu, o poświadczenie przyjmowanego na służbę parobka, wydaje się jedna taka książeczka z terminem od jednego do trzech lat, a to dla zobopólnéj korzyści; winny porzucenia lub uwolnienia ze służby przed czasem bez sprawiedliwych przyczyn, ulega karze pieniężnéj oznaczonéj stałą cyfrą na korzyść zakładowego kapitału włościan; takiéjże karze ulegają tak utrzymujący parobków bez poświadczenia gminowego, jak równie starostowie i starszyny w granicy zarządu, u których znajdują się służący bez legalnych umów parobcy.

3) Właściciel ziemski czy gospodarz chaty przy każdorazowém uiszczeniu opłaty parobkowi, albo służącéj, składa książeczkę właściwemu urzędowi, który takową opłatę poświadcza.

4) Dziesiąta część rocznego quantum pobieranego przez parobka pozostawia się w gminie, do któréj rzeczony parobek przypisany, na jego osobistą własność *) i która mu się wydaje: a) w razie niedołęztwa i braku sił do dalszéj służby; b) przy objęciu gospodarstwa na rzecz własną, i c) wydaje się w końcu na żądanie bez powyższych pobudek po 10-ciu skończonych latach ciągłéj i uczciwéj służby. W razie śmierci przed 10ciu laty kwota pozostała po zmarłym należy do rodziny, w braku onéj zalicza się do kapitału włościańskiego. ¹⁄₁₀ część płacy parobków co rocznie także obowiązany złożyć właściciel ziemski lub gospodarz chaty utrzymujący parobka na rzecz zakładowego kapitału włościańskiego. Posrednikowi zleca się ścisła kontrola nad obu powyższemi kapitałami pod osobistą odpowiedzialnością. Można będzie w następnym czasie, kiedy się urządzą szpitale ochrony dla biednych starców lub niedołęgów, zamienić powyższą pomoc pieniężną niedołężnym parobkom na przytułek w domu ochrony.

5) Wszystkie warunki umowy wyżéj wymienione tak w przedmiocie sztrafów jako też uzyskań dziesiątych części, składanych zarówno przez parobków i gospodarzy, pisarze gminowi obowiązani wnosić do księgi umów tak, aby wszystkie te umowy będąc zapisanemi w kolejnym porządku pozwalały widzieć na pierwszy rzut oka liczbę poświęcających się służbie parobków, ilość ich kapitału, również ilość kapitału włościańskiego, oraz aby pisarze w razie potrzeby każdemu ze służących mogli wytłumaczyć porządek, cel i znaczenie takowych składek.

Wyżéj wymienione dziesiąte części płacy mają być uiszczone przez obie umawiające się strony z góry przy poświadczeniu umowy w gminie, z tém zastrzeżeniem, że strona nie dotrzymująca umowy złożoną przez się ¹⁄₁₀ część traci na rzecz sztrafu, druga zaś w takim razie swój wniosek odbiera na powrót.

Przy zobopólnem dotrzymaniu umowy z końcem roku obie dziesiąte części t. j. parobków i gospodarza zaliczają się jak wyżéj powiedziano.

7) Dodaje się, że parobcy nie mogą zajmować się służbą po za obrębem gminy, chyba tylko w razie braku odpowiedniego zajęcia się i stosownéj płacy w granicach własnéj gminy. Dziewkom również pozwala się służyć tylko w obrębie gminy. *)

8) Kapitał włościański utworzony w powyższy sposób służy do udzielenia pożyczek dla podupadłych rolniczych rodzin włościańskich. Pożyczki takowe udzielają się przez władzę gminową za potwierdzeniem pośrednika i solidarném poręczeniem gromady lub kilku zamożnych gospodarzy, nie daléj jak na trzy lata z procentem 5% do 6% oraz spłatą corocznie ⅓ części kapitału. Korzyści takiego sposobu urządzenia aż nadto są widoczne, między innemi zaś i te jeszcze można zaliczyć: a) Każdy parobek, widząc, że kontrola jego służbowa zależy od władzy, nierównie sumienniéj i z większą uczciwością spełniałby przyjęte obowiązki. b) Zbiegowstwo i zaniedbanie służby wkrótce musiałoby zupełnie ustać w obec celu służby, wynagrodzenia i prawnych zastrzeżeń. e) Z cząstkowych składanych w powyższy sposób kwot, mógłby się utworzyć w krótkim czasie rodzaj banku włościańskiego a udzielane zeń podupadłym włościanom pożyczki, nie tylko wydźwignęłyby z ubóstwa wiele rodzin, lecz jeszcze okazaną w swoim czasie pomocą, zapewniłyby przyszły rozwój gospodarstwa. d) Konkurencja w zapewnieniu czeladzi zrównoważyłaby się dla wszystkich stanów. c) Nakoniec moralność ludu w ogólności bardzo wieleby na tém zyskała.

Mojém zdaniem zbyt żywotny ogólnie jest ten przedmiot, abyśmy się się nie mieli nad nim zastanowić i zrobić co nakazuje przekonanie oparte na zdrowem i sumiennem widzeniu rzeczy. Żyjemy w czasie wielkich reform, ale i największe z nich maluczko się poczynały. Zapewnie, niełatwem jest nasze posłannictwo, starajmy się jednak wedle możności odpowiedzieć zaufaniu położonemu przez kraj; pracujmy wedle siły na téj nowéj niwie, abyśmy się równie zasłużyli starszym i młodszym naszym braciom.

P. P.

*) Sądzimy, iż 10% jest w takim razie kwotą za wysoką, i że poprzestaćby należało najwyżéj na 5% (Red.).

*) Na ten warunek, wręcz przeciwny zasadom wolności wymiany usług, pod żadnym względem przystać niemożemy. (Red.).

Królewiec, *4-go marca 1862 r.*

Powietrze coraz łagodniejsze, wszelako nocą przymrozki dość przejmujące. Pregel jeszcze stoi.

Targi angielskie nie okazują jeszcze życia, i pewno dopóki w czasie sporu anglo-amerykańskiego na spekulacją nagromadzone zapasy pszenicy nie spotrzebują się, handel zbożowy będzie w trudnéj zostawał pozycji. Dowozy amerykańskie znacznie się zmniejszyły, i mało też ładunków w drodze, mimo to jednak na wszystkich prawie placach wartość pszenicznego ziarna, jak nie mniéj i jarego o 1 szyl. na kwarterze się uchyliła.

Wedle urzędowego raportu, sprzedaż angielskiego zboża wynosiła w dopiéro ubiegłem półroczu o cr. 800,000 kwarterów pszenicy, 600,000 jęczmienia i 130,000 owsa więcéj jak zeszłego roku, lubo zbiór ostatni był miernym i remanent z roku 1860 także szupłym. Na ostatni piątkowy targ dowieziono pszenicy krajowéj nader mało, choć i kupujących wyłącznie z niektórych prowincij nie było wielu. Amerykańskie przecież ziarno dawało się z awantażem 1 szyl. na kwarterze dość gładko umieszczać, inne zaś zboże doznawało trudnego zbytu.

We Francji handel zbożowy mało się jeszcze rusza. Ogromne zasoby mąki, które ledwo ubywają z fabrycznych magazynów, po większéj części po zniżonych schodzą cenach. Wielu z téj okoliczności korzystając, kupuje towar ten na spekulacją, w skutek czego i wartość jego nieco się podniosła, Tranzakcje zbożowe jednak zawierają się po zniżonych cenach.

Na naszéj giełdzie prawie nic się nie zmieniło. Cena pszenicy została taka sama, co tygodnia zeszłego, jéj pokup tylko był małego rozmiaru. Żyto zajmowało bardziéj kupujących, tak że w niektórych dniach mieliśmy do dwóch srbr. podwyżki. Interesa jednak w ogóle z pewną obawą się robią, albowiem zbywa na wszelkiéj inicjatywie ze za granicą.

Płacono na giełdzie naszéj:

	za szefel pruski		beczkę litewską z doliczeniem 19½% agio.			
	funt. holl.	sbr.	rub.	kp.	rub.	kp.
pszenicy jasnéj z wagą	125—129	90—93	24	6	24	88
„ ciemnéj „	— —130	—— 94	—	—	25	13
„ czerwonéj „	— —128	—— 92	—	—	24	59
żyta . . . . . „	115—119	51½ 54½	13	78	14	56
„ . . . . . . „	121—126	57½ 60½	15	39	16	17
„ na odst. wiosen. „	— —120	—— 58½	—	—	15	63
„ na odst. w maju i czerwcu	— —120	—— 58	—	—	15	4[illegible]
Jęczmienia wielkiego	— —108	—— 42	—	—	11	29
„ małego	99 —100	—— 36	—	—	9	65
owsa na odst. wios. „	— — 70	—— 28½	—	—	7	65
grochu białego . „	— — —	—— 54	—	—	14	42
Siemienia lnianego	— —103	—— 66	—	52	17	63

Spirytusu z naczyniem 8000% Tralles (nominalnie) Tal. 17⅔.

Rubel w pap. zamienia się po sbr. 28

Kursa zamian: Londyn 3 m. 200½; Amsterdam 71 dni 101⅚; Hamburg 9 tyg. 45; Berlin 2 m. 99⅕; 3 m. 99.

J. GOŚCICKI.

Agencja Domu Nadniemeńskiego

Wł. Syrokomla

Wincenty Dmóchowski.

✝ Czyż wiecznie tylko boleć, tylko publicznie wygłaszać boleści, ma być naszą dolą?— pióro zaledwie oschłe po jedném pośmiertném wspomnieniu, czyż trzeba nanowo maczać w płyn czarny, aby wypisywać czarne myśli nad czarnym losem śmiertelnych?— Tak jest— zrezygnowane oczy wzniosłszy do nieba, skąd się czerpie odwaga ducha, dopełniajmy naszą przykrą powinność— przyuczajmy się do rozkoszy cierpienia, bo w doczesnym bycie niema innych rozkoszy.

Dnia 22 lutego b. r. pożegnał ziemski padoł powszechnie tu znany i kochany Wincenty Dmóchowski. Kraj stracił w nim utalentowanego artystę-malarza, rodzina dobrego ojca, małżonka, przyjaciele szczerego brata. Sława jego jakkolwiek uznana obiła się nie o jedno ucho, prace jednak, niemal wyłącznie rodzinnéj Litwie poświęcone, mało co się po za jéj obręb rozbiegły. Czując, że prace podobnych artystów, przynoszących chlubę ogółowi są pod pewnym względem jego własnością, że wzór życia poczciwego człowieka niepozostaje bez dobrego wpływu na spółeczność, podajmy kilka szczegółów o pierwszych i o drugiem—kilka tylko, bo na razie niedosyć zaopatrzeni w ma-

terjały, nieumielibyśmy zresztą smutnemu sercu naszemu dać dosyć swobody do spisywania drobiazgowych szczegółów.

Wincenty Dmóchowski, urodził się 1807 r. z ojca Ignacego i matki Marji z Zenowiczów Dmóchowskich, vice-marszałkostwa powiatu Oszmiańskiego, we wsi tegoż powiatu Samiszczach, do dziedzictwa rodziców jego należącéj. Zgromadzenie Pijarów stało owocześnie na świeczniku wychowania publicznego;— po przebyciu więc lat rannéj młodości, Wincenty oddany został na wychowanie do najbliższego kollegjum w Szczuczynie litewskim. Sądząc po urodzonych zdolnościach wątpić nienależy, że zwrócił uwagę światłych nauczycieli. Co zaś do współuczniów, tych podbił od razu, słodyczą i wesołością charakteru, ową cechą serc prawych, która go do zgonu nieopuszczała. Mało już dzisiaj mamy podań o owoczesnych porządkach szkolnych. Niebaczni! niezapisawszy opowiadań ojców naszych, wiele już mamy niezrozumiałego w owoczesnych zwyczajach i prerogatywach młodzieży. U Pijarów uczniowie miewali własne sejmiki, z pomiędzy siebie obierając bez wpływu nauczycieli, swoją klassową starszyznę. Będąc w klassie VI., Wincenty Dmóchowski obrany został przez kollegów *jednomyślnie, bez wotów, jako sodalis prefektem*— dowód miłości i współbratniego zaufania.

Po ukończeniu szkół, straciwszy ojca w roku 1824 posłany został przez matkę, do jéj brata Despot Zenowicza marszałka gubernjalnego w Mińsku, gdzie się przez parę lat przykładał do prawa. W roku zaś 1826, wstąpił do uniwersytetu wileńskiego, na wydział literacki i sztuk pięknych. Nieraz nam sam opowiadał, jak od razu poważném okiem spójrzawszy na sztukę, przyłożył rękę do ołówka i pędzla nie z łaski, jako zamożny amator, ale z duchem ofiary, z przygotowaniem do wieńca cierniowego jak prawdziwy akolita-artysta. Rustem, owocześnie modny, potém niesłusznie zapomniany i zapoznany w swych pracach, a dziś tylko pamiętny konceptem „*że malował z gustem*“, Rustem mówię, professor malarstwa w Wileńskiéj szkole sztuk pięknych, sam artysta pełen talentu i znajomości przedmiotu, skąpy ale trafny w radach, umiał sztukę wyjaśnić i tchnąć w piersi uczniów święte ku niéj zamiłowanie. Tak na miłych studjach i serdeczném młodzieży towarzystwie upłynął czas Dmóchowskiemu w Wilnie, do roku 1829, w którym ukończył uniwersytet ze stopniem rzeczywistego studenta. Zawsze rzewnie wspominał tę dobę swojego życia, bo któż ją wspomina inaczéj?

W roku 1830 zawarł śluby małżeńskie z Salomeą z Orłowskich, córką niegdyś majora b. wojsk polskich.

Wypadki 1831 r. powołały go do wojska polskiego gdzie się zaciągnął do 3 półku ułanów, w korpusie Dębińskiego, który wracał z Litwy do Warszawy, tam też wkrótce otrzymał mianowanie na porucznika. Po wzięciu Warszawy przyłączony do korpusu Rybińskiego, wyemigrował do Prus. Wskutek Najwyższego manifestu otrzymawszy amnestję, wrócił na łono rodzinnéj Litwy, któréj już aż do końca życia nieopuścił.

Z doby swojéj żołnierki miał do opowiadania tysiące dykteryjek, anekdot przypominających życie koleżeńskie, pełne trudów, niewczasów, niewygod, a jednak opromienione tym poczciwym złotym humorem, który w najprzykrzejszych chwilach życia Dmóchowskiego nieopuszczał. Z opowiadań tych było znaczno, że Wincenty jak zawsze duszą był towarzystwa, a łącząc żołnierską swobodę z nieskalaną delikatnością słowa, pożądany w towarzystwach, miłą pamięć po sobie zostawił. W Prusiech, na artystyczną duszę jego potężnie działały średniowieczne budownictwa krzyżackiego zabytki. Nieraz mi z zapałem kreśląc świątynię Malborską, tameczny zamek, z poważnemi komnaty i z majestatycznym refektarzem, uobecniał w wyobraźni Walenrodowe postaci. Niedługi jego pobyt w Prusiech, niemało się jednak przyłożył do wykształcenia sercem kochającego sztukę artysty.

Dnia 23 października 1837 r., już ubłogosławiony potomstwem, przybył Wincenty Dmóchowski na stały pobyt do Wilna, mając całego zapasu pieniężnego *czternaście i pół rubli srebrem.* Do tego śmiałego kroku nakłoniła go naiwna wiara, że Litwini zarówno jak on sam kochający sztukę, nie dadzą w pośród siebie, w swojéj stolicy, zginąć rodzinnemu talentowi. Ale wiele, o, wiele upłynie wody z Wilji do Bałtyku, zaczém Litwa zrozumieć zechce tego rodzaju swoje społeczne obowiązki! Nieraz gorzko przychodziło Dmóchowskiemu pożałować téj wiary. Cudne jego krajobrazy znajdowały wielu lubowników ale mało nabywców, a zwyczajne środki wyrobienia powszedniego chleba, jak dawanie lekcij, robienie portretów, restauracje starych obrazów, tak szczupłe zaspakajały potrzeby, że tylko dostojne poczucie w sobie kapłaństwa sztuki, dało wytrwać na téj kolczastéj drodze. Z księgi jego notat, którą mamy przed sobą, a którą punktualnie utrzymywał od przyjazdu do Wilna, aż do ostatnich niemal chwil życia, dowiadujemy się niejednego szczegółu téj codziennéj a boleśnéj walki duszy artysty z warunkami powszedniego życia. Podług téj księgi, będziemy kolejno wypisywać znaczniejsze prace Dmóchowskiego, spodziewając się ze względu na autentyczność źródła, że spis nasz będzie mniéj więcéj zupełny.

I tak: w roku 1838 owoczesna Komissja Radziwiłłowska, zamówiła u niego jakieś prace, a biskup Dmochowski dwa krajobrazy. Nadto w tym roku wykonał dla ks. Ludwika Wittgenstejna *wnętrze salonu w Werkach i Widok okolicy Zakretu.* Pojmujący sztukę szlachetny książe, za pierwszą z tych prac ofiarował artyście 180, za drugą 120 rubli srebrem. W roku 1840 wykonał dla tegoż księcia *trzy widoki Werek* (widok gór lodowych gwaszą), oraz dla księżnéj Dołhorukowéj *wnętrze apartamentu* w pałacu jenerał-gubernatorskim i *widok Wilna z góry Boufałowskiéj* (gwaszą do albomu); wypracowywał minjatury i drobne wodne portreta a nadto zdejmował *widok pałcu* Łęskich w Waszkiewiczach. W 1843 rysował akwarellą dla pani Kublickiéj, *trzy widoki ogrodu botanicznego* w Wilnie, dla pana zaś Kostrowickiego *pięć widoków* jego majątku *Orniany.* Tegoż roku odbywszy w sierpniu podróż do Warszawy, rozpoczął dla pana Śniadeckiego *wielki widok Wilna od strony zielonego mostu.*

Portreta, portreciki, lekcje, krwawa ofiara, jaką artysta na ołtarzu codziennych potrzeb składać musiał, zabierała mu czas i myśl swobodną, z jaką radby się spokojnie zasklepić przy staludze, wzorując wdzięki ukochanéj litewskiéj ziemi, a ten krwawo zamozolony kęs chleba ileż to razy przychodziło połknąć wespół z lekceważeniem ziomków niby to dilettantów, którzy na przekor obowiązkom uznanym przez wszystkie kraje światłéj Europy, niechcą uznać rodzinnego talentu, *właśnie dla tego że rodzinny* *). Oprócz portretów, które się dla chleba i cudzéj próżności malowało, większe i bliższe serca prace szły opieszale lub wcale nieszły. Pod rokiem 1844 spotykamy wzmiankę o *wielkim obrazie* dla p. Zalewskiego, pod rokiem 1846 o *trzech widokach Mereczowszczyzny,* wykonanych dla p. Wandalina Pusłowskiego ołówkiem (rs. 50) pod r. 1847 o widokach zamków litewskich zamówiony przez Eust. hr. Tyszkiewicza.

*) Z boleścią wypisujemy tutaj jeden przykład, ze wspomnionéj już księgi notat Dmóchowskiego. „P. A. O. za portret córki konającéj z suchot, który się robił tydzień (jako dla słabości niemogącéj siedzieć spokojnie), w dniu jéj śmierci, kiedy pomieniony portret był ukończony zupełnie, kazał sobie podać racnunek, i po zawziętym targu, kiedy już daléj niemogąc znieść téj bolesnéj sceny, gdzie umierająca była w drugim pokoju, spuściłem się zupełnie na jego wspaniałość aby tylko skończyć rozmowę— raczył zapłacić starych dukatów pięć.

Rok 1849 płodniejszy był dla pędzla Dmóchowskiego. W nim malował; *kaplicę samotną podczas ciemnéj nocy* (dla p. Zalewskiego) *dwa widoki wewnętrzny i zewnętrzny, osady rossyjskiej w Burbiszkach* (dla jenerałowéj Mirkowiczowéj), *dawną processję rezurekcyjną ze strzelaniem z ręcznéj broni i moździerzy* (dla ks. kanonika Zaleskiego prob. Ostrobramskiego), *zachod słońca* (dla tegoż), takiż *zachód słońca i noc na Pińskich bagnach* (dla p. Władysława Brochockiego), nakoniec widok morski, (dla p. Ludwika Wróblewskiego). W roku następnym 1850 malował: widok *dziedzińca dawnéj kliniki w Wilnie* (dla p. Antoniego Brochockiego), widok *Wilna z góry* (dla półkownika Gutowskiego) i *widok karczmy na błotach Pińskich przy zachodzie słońca* dla p. Michała Tyszkiewicza).

Od r. 1851 pobyt w Wilnie Hr. Michała Tyszkiewicza (z Gródka), byłego ucznia, w którym Dmóchowski wysoki dilettantyzm ku sztuce podniecił i szlachetna jego hojność względem dawnego nauczyciela, dały Dmóchowskiemu trochę tak dawno upragnionéj niezależności. Hrabia, zamówiwszy *dwa widoki Wilna,* oraz *widok doliny Mickiewicza pod Kownem,* a trzema-set rublami zapomogłszy kassę artysty, już tem samém pędzlowi zapewnił większą swobodę. Oprócz kilku warjantów, *błot pińskich,* przyszła wtedy Dmóchowskiemu myśl szczęśliwa, malowania na temat z Pana Tadeusza, litewskiego *Matecznika,* czyli głębi niedostępnéj a głuchej puszczy, z nieogarnionym okiem, dalekim planem, z mgłą ziejącego nieczystym wybuchem powietrza, z kałowatemi, pokrzywionemi, choremi drzewami. Nikt lepiej od Dmóchowskiego niezgłębił tajemnic litewskiéj natury; on był nią cały przesiąkły, ona żyła, kwitła, szumiała w jego wyobraźni. Przedmiot tak przyrosł do serca artysty i tak się powszechnie podobał, że ów *matecznik* z rozmaitemi warjantami, w porze letniéj, jesiennej i zimowéj, kilkakrotnie powtórzyć musiał. Malował go: dla hr. Michała Tyszkiewicza, dla marszałka R. Pisanki, dla ś. Ignacego Czechowicza, dla A. H. Kirkora (w zimowéj porze) i dla J. I. Kraszéwskiego.—Lata 1852 i 1853 można nazwać w zawodzie Dmochowskiego, epoką mateczników. Oprócz nich, do r. 1855 malował *widok nocny lesnej okolicy* (dla p. Zygmunta Czechowicza), *widok cmentarza Rossy* (dla p. Butkiewicza), *widok zimowy ze sceną myśliwską* (dla hr. Michała Tyszkiewicza) oraz 7. małych widoków zamków Litewskich dla A. H. Kirkora: *Olszan, Lidy, Mira, Miednik, Trok od strony jeziora, i wnętrze zwalisk tegoż zamku,*—nakoniec *krajobrazek litewski z natury* na dębowej desce znajdujący się u mnie. Wykonywał nadto dla tegoż Kirkora pomniejsze prace wodnemi farbami, jako to: widok Wilna z góry Boufałowskiéj (litografowany w Petersburgu u Dupressoir) i *winetę* do Pamiętnika wileńskiego na rok 1854 (litochromowaną w Paryżu u Lemercier'a), prawdziwe arcydzieło trafności pomysłu, bogactwa fantazji i drobiazgowéj wytworności wykonania. Cacko to artystyczne zasługuje na szczegółowy opis. Pod rozłożystym dębem siedzi zadumany rycerz Litewski, tło obrazku składa się z ruin starożytnych zamków Litwy, Miednik, Wilna i Trok, pałacu Barbary, oraz kościołów Bernardyńskiego i S-go Mikołaja; na dębie cyfra Witolda z chorągwi i autentycznie cudnie minjaturowane portreta Witolda i Barbary. Całość kompozycji fantastycznie oplątana łańcuchem takim jakie się wydobywają z kurhanów, ozdobiona jest starą litewską bronią, uzbrojeniem, urną i bóstwami.

Wtychże latach, uproszony od owoczesnego dyrektora Teatru Wileńskiego, zajmował się Dmóchowski kierunkiem dekoracji do oper, które wtedy świetniej dawać poczęto. Pamiętamy kilka dziwnie ułudnych jego pomysłu kulis z owéj epoki, jako to: *las* do *Halki, grota i morze* do *Faworyty, wnętrze gotyckiego klasztoru,* do tejże, ogrod oświetlony kolorowemi *lampami,* do *Włoszki w Algierze,* i t. d. (*) *Doskonała* znajomość złudzenia świateł, i co ważniejsza matematyczna ścisłość w perspektywie linearnéj, dawały kulisom przezeń pomyślanym, urok trudny do opisania.

Przez sierpień 1854, bawił z rodziną u wód mineralnych w Stokliszkach. „Tutaj—pisze w swéj księdze notat—gdzie niby uciekłem od wydatków, którym podołać niemogłem w Wilnie (ale to na nic się nieprzydało, bo wszystko było drogo) zrobiłem tylko jeden portrecik pani Chrapowickiej, ołówkiem.“—Czas ten jednak, stracony dla funduszów artysty, niebył straconym dla sztuki. Dmóchowski pięknemi porankami, wynosząc się ze swoją stalugą do lasu, uczył się tajemnicy starych dębów litewskich—i przywiozł piękne tego rodzaju studjum.

Nie same tylko przykrości i miedziane srebrniki, miał Dmóchowski w swojém dawaniu lekcji. Najdokładniej posiadając rysunek, udarowany łagodnością charakteru i dziwną jasnością wykładu, ściągnął wielu uczniów, którym, już to w ich domach, już wieczorami u siebie, wykładał perspektywę i światło-cień. Wielu z tych uczniów zostało chlubą nauczyciela. Możemy wymienić kilka tych głośnych już dzisiaj imion: Tadeusz Gorecki, dziś Europejskiéj sławy artysta, Smuglewicz (młody) Karczewski, który się odznaczył w Rzymie i w kraju, Pietkiewicz, Marszewski uznany potém w Düsseldorfskiej szkole pejzażysta, Rejnhard, pani Skirmuntowa, panna Roenné (później Ogińska), panna Elżbieta Moniuszkówna. Do wróżących wysoką przyszłość swych uczniow, Dmóchowski mógł policzyć własnego syna Władysława, który pod jego okiem pierwsze przyjąwszy wykształcenie, wraca teraz z zagranicy z plonami pilnych studjów.

W kwietniu 1855, powodowany także *widokami oszczędności,* wziąwszy pod Nowogródkiem w dzierżawę folwark Bryciankę, wyniosł się z Wilna z rodziną złożoną z małżonki i sześciorga dorosłéj już niemal dziatwy. Próżno marzyłeś o wiejskiej ciszy i swobodzie ducha biédny artysto! wydatki i tutaj cię znalazły, studja sztuki, musiały ustąpić rachunkom to z młynarzem, to z szynkarzem, to z dziatwą Izraela; ich nawał przygniotł artystyczne skrzydła. Zamiast pędzlem na płótnie, zapisywać wrażenia twej duszy, musiałeś w księdze twych notat wyszczególniać, garnce sprzedanego grochu i ośminy jęczmienia. Z trzyletniego jego pobytu na wsi, zdaje się że pozostał tylko jeden większych rozmiarów obraz: *scena myśliwska z pana Tadeusza, Mickiewicza,* (dla P. Konstantego Tuhanowskiego) oraz kilka małych akwarelli: *widok żamku Nowogródzkiego, domek Mickiewicza tamże, stara cerkiew po-Bazyljańska* (dawniej katedra grecka za Witolda, stolica Cymblaka) tamże. Obrazki te złożone w Wilnie w sklepie Fiorentiniego, jako tako, po lichéj cenie się rozprzedały.

(*) Kiedy po otwarciu zasłony na Włoszce. zdumiona publiczność ujrzała ów cudowny ogrod, jakby latający w różnobarwnych falach światła, tak się zapomniała, że hucznym oklaskiem i przywołaniem uczciła dekoratora. Była to nowość dotąd w Wilnie niesłychana; spotykałem niektórych, którzy się z niej gorszyli. Ale zwyczaj się utrwalił i potem parę razy inni malarze—dekoratorowie byli wywoływani w Teatrze.

Fundusze się wyczerpywały, wioska nieodpowiedziała artystycznym pożądaniom ducha, więc znowu *dla oszczędności,* w czerwcu 1858 wrócił na mieszkanie do Wilna. Tu znowu nastało bojowanie z życiem, ale przyszły w pomoc prace i obstalunki: marszałek Dmóchowski uprosił go aby się zajął dyrekcją mających się malować salonów, o takąż przysługę zobowiązał do Marszałek Domejko. P. Ciecierski nabył *widok Trok,* a szlachetny hr. Michał Tyszkiewicz zamówiwszy prac kilka, za *olejny widok* swéj posiadłości *Gródka,* ofiarował mu rubli srebrem sześćset. Niech nam hrabia przebaczy tę niedyskrecję,—popełniamy ją nie dla jego chluby, ale wskazania innym obywatelskich obowiązków, względem krajowej sztuki.

Dalsze z ważniejszych prac Dmóchowskiego dokonane po powrócie do Wilna, były: widok *okolicy pińskiej przy zorzy wieczornéj* (dla p. Kazimierza Domejki w r. 1859), *zachod słońca, naśladowanie z Hildebrandu* (dla p. Cywińskiego w r. 1860), *widok Zwierzyńca* posiadłości pod Wilnem (dla pani Krauze—tegoż), *wschód słońca latem* (dla p. Cyprjana Cywińskiego 1861), *dwie akwarelle* do albomu Władysława Mickiewicza (dla p. Konstantego Tuhanowskiego—tegoż roku), *widok Trockiego zamku* dla hr. Adolfa Grocholskiego—tegoż r.), *wschód słońca, zachód,* zamki: *Nieświeżski i Trocki,* oraz *klasztor w Narwiliszkach,* które się znajdują u p. Antoniego Kolankowskiego.

Oprócz tych, któreśmy troskliwie wyliczyli prac Dmóchowskiego, pozostały jeszcze w domu następne malowidła. Widoki: 1) *Wilna* 2) *Stokliszek,* 3) *Olszan,* 4) *Nowogródka;*—obrazki charakterystyczne: 5) *Dożynki,* 6) *wesele żydowskie,* 7) *powrót z polowania;*—obrazy większych rozmiarów 8) *kwestarz jadący z baranami,* 9) *pożar w lesie,* a nakoniec 10) *widok Słonima,* ostatnia praca niewykończona.

W moim zbiorze znajdują się po nim pamiątki: 1) *widok ustroni litewskiéj,* mały obrazek z natury, 2) stara cerkiew *w Nowogrodku*—akwarella i trzy większych rozmiarów obrazy: 3) *scena z Margiera,* 4) *noc na wyspie Rugii* i 5) prześliczny *zaścianek Litewski oświecony promieniami zachodzącego słońca.* Dr. Stanisław Wikszemski posiada *widok karczmy na Pińskich błotach.*

Oprócz prac malarskich, zajmował się Dmóchowski rzeźbą. Znamy jego rylca dwa biusta odznaczające się wykończeniem i podobieństwem: hrabiego Michała Tyszkiewicza, i poety Juljana Korsaka.

Korsak z którym Dmóchowskiego ścisła przyjaźń łączyła, skonał na jego ręku w Nowogródku.

Wybitnemi cechami charakteru Dmóchowskiego, były: łagodność, dowcipna a niewymuszona wesołość, którą nieraz swoje cierpienia przykrywał, a nadewszystko miłość rodzinnéj ziemi, i jej natury. Te same cechy wyraziście odbiły się i na utworach jego pędzla. Niezawsze mu się udawało nakreślić nocną i chmurną dobę, bo niebyło nocy i chmur w jego pogodném sercu;—mistrzowsko rzucał na niebie promienne obłoczki o wschodzie i zachodzie słońca, bo do takiego nieba dusza jego tęskniła. Litewska wiejska chata wychodziła z pod jego pędzla tak po swojemu, tak żywo, że łatwo było odgadnąć miłość sielskiego ludu, która rzeczywiście napełniała piersi artysty.— Wiatr w liściach, strumyk przy drodze, zda się mruczały domową pieśń litewską,—a zgłębienie tajemnicy konarów leśnych, traw błotnych i kwiatków, wymównie świadczy, że nie zimne suche, ale pełne miłości oko na nie patrzało.

Od kilkunastu miesięcy, rozwijająca się kiszkowa choroba, poczęła przybierać groźny charakter. Walcząc z nią taił swe cierpienia,—ale przyjaciele, w liczbie których byli lekarże, widzieli blizki cios wiszący nad zacną rodziną. Dożył przecię tej pociechy, że uściskał powracającego z zagranicy syna, do którego serdecznie tęsknił. Umarł opatrzony śś. Sakramentami, na łonie rodziny, w nocy 22 lutego, mając wieku lat 55.

W chwili, gdy kończymy nasze wspomnienie,—dzwonią na twój pogrzeb, zacny nasz przyjacielu! żegnaj nam! niedługo zobaczymy się w krainie, gdzie duszę artysty zrozumieją, a ziemskie cierpienia wynagrodzą!

Wł. Syrokomla.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— Piszą do nas z Warszawy, iż wydawnictwo Długosza znacznie postępuje. Dwa pierwsze tomy *Libri Beneficiorum* przygotowane są do druku i wyniosą około 67 arkuszy, a trzeci przepisuje się. *Historję* przetłómaczył professor Mecherzyński w $^2/_3$ częściach; tekst łaciński Żegota Pauli zestawia przez kolacjonowanie z autografem. *Żywoty Biskupów* przetłómaczył ksiądz Gacki. Żywot Ś. *Kunegundy* z trzech rękopisów XV-go wieku został zestawiony. Żywot Długosza, do którego materjały zbierał ś. p. Batowski, wypracować ma Bielowski.

Ale ta cała praca przygotowawcza przez dwa lata z górą ciągnąca się, kosztuje już więcéj 8,000 rs. a prenumerata pomimo znacznych usiłowań, nie odpowiada jeszcze powziętym nadziejom. Czyżby to miało pochodzić z obojętności? — Wolimy szukać przyczyn w stagnacji czasowéj. Niektóre kapituły w kraju i niektóre powiaty w Królestwie dały jednak dobry przykład, który gdyby był naśladowany wszędzie, doprowadziłby szczęśliwie całe dzieło do końca.

— „Czas“ prazki donosi, że pisarz czeski Józef Ferlacz rozpoczął w Paryżu w języku polskim szereg prelekcij o literaturze czeskiéj. Wedle zapewnienia tego dziennika, Polacy przebywający w Paryżu, biorą żywy udział w tym wykładzie i licznie uczęszczają na prelekcje p. Ferlacza.

— Wyczytujemy w „Gazecie Kronsztadzkiéj“ chlubną dla nas wzmiankę o działalności naukowéj hr. *Eustachego Tyszkiewicza* z powodu bytności jego w Kronsztacie d. 8 lutego b. r. Bawiąc od półtora przeszło miesiąca w Petersburgu w celach naukowych, dostojny prezes komissji archeologicznéj korzystając z chwil wolnych, zrobił w towarzystwie ks. prałata Aleksandra Ważyńskiego wycieczkę do Kronsztatu, by zwiedzić arsenał morski, bibljotekę i muzeum historji naturalnéj oraz osobliwości chińskich i japońskich. Z listów prywatnych ztamtąd pisanych, dowiadujemy się, że bawiący w Kronsztacie ziomkowie, po większéj części lekarze marynarki, z których każdy prawie odbył podróż naokoło świata, chcąc dać dowód współczucia swego dla dostojnego hrabiego i dla zakładu, któremu przewodniczy, znieśli w ofierze dla muzeum Wileńskiego rozmaite osobliwości z Chin, Japonji, Egiptu i wyspy Cejlan pochodzące. W liczbie dwiestu przeszło przedmiotów, złożonych w darze przez 23-ch ziomków naszych i jednego obywatela Stanów Zjednoczonych Ameryki, który także swój grosz wdowi dorzucił, znajdują się rzeczy zrabowane w pałacu bogdychana Chińskiego i nabyte u żołnierzy angielskich, upominki cesarza Japońskiego, dane oficerom marynarki rossyjskiéj, dary wice-króla Cejlanu, materje w sztukach, jedwabne i robione z łyka drzew rozmaitych, mianowicie zadziwiający rodzaj muślinu, tkanego z łodyg ananasowych, i wiele innych rzeczy, których tu wyliczać niepodobna. Już to samo osóbne stanowi muzeum. Wkrótce te zbiory do Wilna przywiezione będą, a wiemy z pewnością, że czcigodny prezes zamierza z nich urządzić publiczną w gmachu Muzeum, wystawę, na któréj mieszkańcy Wilna, nie wybiegając za mury miasta na zamorskie wyprawy, będą mogli odbyć pouczającą podróż do Chin i Japonji, a to wszystko dzięki szczodrobliwości ziomków, u których szerokość geograficzna nie zdoła nigdy ostudzić zapału dla rodzinnego gniazda, ani też zaćmić najszlachetniejszéj ze wszystkich pamięci — pamięci serca.

— Dzięki obudzonemu popędowi do szlachetnego współzawodnictwa i chęci uczynienia książek dostępnemi dla jak największéj massy czytelników, coraz częściéj zaczynają się zjawiać u nas tanie publikacje dzieł użytecznych. W tych dniach księgarnia p. f. Józefa Zawadzkiego obdarzyła nas takiem wydaniem *Teorji jestestw organicznych* Jędrzeja Śniadeckiego. Niepotrzebujemy się rozwodzić nad zaletami téj książki, równie ważnéj pod względem naukowym, jak i pod względem stylu, którego uczenie się na dziełach obu Śniadeckich pragnęlibyśmy polecić każdemu z poczynających zawód piśmienniczy: jedno i drugie było już wielokrotnie wyświetlane. Otoż takie dzieło, którego druga edycja w trzech tomach kosztowała rub. 4 kop. 50, obecnie wydane w jednym tomie o 377 str., drukiem wprawdzie ściśniętym, ale bujnym i pięknym, kosztuje rub. 1 kop. 20. Pozostaje tylko życzyć, aby w ogólności ceny książek mogły się w kraju naszym do téj skali zredukować. Wtedybyśmy przestali zazdrościć Francuzom, że dzieła swoich klassyków mogą nabywać po franku za tom, obejmujący tyle, co kilka tomów naszych powieści.

KURSA GIEŁDOWE.

PETERSBURG, 23 lutego (7 marca).

Pięcioprocentowe rossyjsk. 1-széj pożyczki. . .	$97\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$
„ „ 2-éj „ . .	$111\frac{1}{2}$ %
„ „ 3-éj „ . .	96 %
„ „ 4-éj „ . .	96 %.
„ „ 5-éj „ . .	$97\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ %
„ „ 6-éj „ . .	$113\frac{1}{2}$ %
Pięcioproc. bilety banku państwa	$97\frac{1}{4}$, $97\frac{1}{2}$
Czteroprocentowe, 2-éj, 3-éj i 4-éj pożyczki	$87\frac{1}{2}$ 87%.
Akcje głównego Tow. kolei żel.	$114\frac{1}{2}$
Obligacje $4\frac{1}{2}$ proc. tegoż Towarz.	$87\frac{1}{2}$.
Akcje ryzko-dynab. kolei żelaznéj	$100\frac{1}{2}$
Półimperjały	5 rub. 80 k.
Weksle (na 3 mies.): na Londyn	$33\frac{15}{16}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{9}{16}$ p.
— — na Amsterdam	$164\frac{1}{2}$, $165\frac{1}{4}$ c.
— — na Hamburg	$29\frac{7}{8}$, $30\frac{1}{4}$ sz. b.
— — na Paryż	348, $351\frac{1}{2}$, c.

WARSZAWA, 7 marca (23 lutego).

Listy zastawne z bieżącym kuponem	15 r. $21\frac{1}{2}$ k.
Obligi skarbowe, — —	94— 75 —
Akcje drogi żel. warsz.-wiedeńskiéj	65— 75 —
— — warsz.-bydgoskiéj	83— — —
Weksle: na Berlin (2 mies.) za 100 tal.	106 r. 20 k.
— na Hamburg (2 mies.) za 300 m.	160 — 80 —
— na Paryż (2 mies.) za 300 fr.	85 — 50 —
— na Wiedeń (2 mies.) za 150 g.	77 — 70 —
— na Londyn (3 mies.) za 1 fst.	7 — 16 —
— na Petersburg (1 m.) za 100 r.	99 — 25 —
— na Moskwę (1 m.) za 100 r.	98 — 75 —

RYGA, 20 lutego (4 marca).

Pięcioproc. 5-éj pożycz.	98%.
Pięcioproc. bilety banku państwa	$98\frac{1}{2}$ %.
Weksle: na Londyn	$33\frac{9}{16}$ p.
— na Amsterdam	$165\frac{1}{4}$ c.
— na Hamburg.	$30\frac{1}{16}$ sz. b.
— na Paryż	351 c.

ODESSA, 26 lutego (10 marca).

Weksle: na Londyn za 1 fs., ...	7 r. $8\frac{1}{4}$ k.
— na Paryż za 1 r.	$451\frac{1}{2}$ c.
— na Marsylję za 1 r.	$355\frac{1}{4}$ c.
— na Genuę za 1 r.	$356\frac{1}{4}$ c.

BERLIN, 7 marca (23 lutego).

Rossyjskie 5-procentowe 5-éj poż. . . .	$84\frac{1}{2}$ %
— — 6-éj poż. . . .	$98\frac{1}{4}$ %.
Czteroproc. metall. bankowe bil. za 100 r.	$93\frac{5}{8}$ t.
Bilety kredytowe ross. za 90 rub. . .	84 tal.
Polskie obligacje skarbowe oprócz kup. .	80 $\frac{5}{8}$.
— listy zastawne	$84\frac{3}{4}$.
— bilety bankowe.	$84\frac{1}{4}$.
Złoto czyste $459\frac{1}{2}$ tal. za funt 1.	
Weksle: na Petersburg (3 mies.) za 100 rub.	$91\frac{7}{8}$ tal.
— na Warszawę (krótki term.). . .	$84\frac{1}{4}$ r.

HAMBURG, 7 marca (23 lutego).

Rossyjskie 5-proc. 5-éj pożyczki . . .	$80\frac{1}{4}$ %.
— — 6-éj pożyczki . . .	95 %.
Weksle na Petersburg (3 mies.) za 1 r. . .	29 sz. b.
Złoto za 1 m. kol. $425\frac{1}{2}$ m. b.	
Disconto $2\frac{3}{4}$ %	

AMSTERDAM, 7 marca (23 lutego).

Rossyjskie pięcioproc. 5-éj pożyczki. . .	$79\frac{7}{8}$ %;
— — 6-éj pożyczki. . .	$92\frac{1}{4}$ %.
Weksle na Petersburg (3 mies.) za 1 r.	159 c.

LONDYN, 7 marca (23 lutego).

3-procentowe ang. konsolidy.	$93\frac{1}{4}$ %.
Rossyjskie 5-proc. 2-éj poż.	102 %
Srebro w sztabach.	5 sz. $1\frac{1}{2}$ p.
Weksle na Petersburg (3 mies.). . . .	$32\frac{3}{8}$ p.

PARYŻ, 7 marca (23 lutego).

Renta 3-proc.	69 fr. 70 c., i 70 fr.
Akcje kredytu ruchomego.	756 fr.
Akcje głównego Tow. kol. żel. w Rossji	406 fr.
Weksle na Petersburg za 1 r.	343 c.

CENY TARGOWE W WILNIE.

od 26 lutego do 1 marca.

Żyta beczka 15 rub., pszenicy beczka 25 rub., jęczmienia beczka 11 rub., owsa beczka 7 rub. 50 kop., grochu beczka 16 rub., gryki beczka 10 rub., siana pud 65 kop., słomy pud 30 kop., kartofli beczka 7 rub., masła pud 11 rub. 25 kop.

ВИЛЕНСКІЙ ДНЕВНИКЪ.

Пріѣхавшіе въ Вильно, съ 26-го февраля по 1-ое марта.

ГОСТИННИЦА НИШКОВСКИ. Пом.: Подберески.—Швыковски.—Жуковски.—Рудницки.— Помарнацки.—Пусловски.— Сальмоновичъ — Барщевски.— Янковски. — Брон. Бениславски.— Рущицъ.—Миньски.—Г-жа Домбровска.

Отст. полк. Ковальски.— Отст. маі. Варфол. Мокржецки.— Надв. Сов. Володковичъ.—Полк. М. Гагельштромъ.

Выѣхавшіе изъ Вильна, съ 26-го февраля по 1-ое марта.

Инж. ген. Кербедзъ.—Пом. Валицки.—Антошевичъ.—Жолкевичъ —Швыковски.—Ромеръ.— Болтуцъ.— Пусловски.— Барщевска.—Вигманъ.—Франціусъ.—Манкевичъ.—Потоцки.—Островски. Солтанъ.— Янковски.— Подберески.— Жуковски. — Рудницки.— Пом. Валицки.—Алекс. Брохоцки.—Инж. кап. Конст. Лундъ.

DZIENNIK WILEŃSKI.

Przyjechali do Wilna od 26-go lutego do 1-go marca.

HOTEL NISZKOWSKI. Obyw. Podbereski.— Szwykowski.—Żukowski.—Rudnicki.—Pomarnacki.— Pusłowski.—Salmonowicz.– Barszczewski.—Jankowski.—Bron. Benisławski.— Ruszczyc.— Miński.—Pani Dąbrowska.

Dym. Półkown. Kowalski —Dym. major Bartł. Mokrzecki.—Rad. dw. Wołodkowicz.—Półk. M. Hagelstrom.

Wyjechali z Wilna, od 26-go lutego do 1-go marca.

Jenerał inż. Kierbedź.— Ob. Walicki. — Antoszewicz. — Żołkiewicz.—Szwykowski.—Romer.—Bołtuć.—Pusłowski.—Barszczewska.—Wigman.—Francjus.—Mankiewicz.—Potocki.—Ostrowski.—Sołtan.—Jankowski.— Podbereski.— Żukowski.— Rudnicki. — Ob. Walicki.—Aleksan. Brochocki.—Kap. inż. Konst. Lund.

Печатать позволяется. Вильно, 1 Марта 1862 г. — Ценсоръ статскій совѣтникъ и кавалеръ А. Мухинъ.

W drukarni A. H. Kirkora.